ПОВЕСТЬ

Марина Майорова (мать Иоанна)
(с. Пятница Владимирской обл.)

ДЖУЛИАНА. ПОПЫТКА ВЗЛЕТА
(Парафраз на известную тему)*

Марина Ильинична Иванова (Майорова — девичья фамилия) родилась 26 мая 1940 года в г. Ленинграде. Родители учились в Театральном институте. Отец в 1943 году погиб. Окончила музыкальное училище в Калининграде. Преподавала в музыкальном и педагогическом училищах, в педагогическом институте. Вела передачи на радио и телевидении, печаталась в газетах. Впервые ее стихи были опубликованы в «Калининградском комсомольце», а потом «Тула вечерняя» представила большую подборку стихотворений, когда она работала лектором-музыковедом в филармонии. В 1991 году ее повесть была сдана в журнал «Ясная Поляна», но из-за серьезных экономических проблем журнал прекратил свое существование, и произведение так и не увидело свет. Ее статьи публиковались в «Тульских Епархиальных Ведомостях». В 1998 году приняла монашество. Проживает во Владимирской области и продолжает литературное творчество. Были изданы ее книги «Крошка Ду» (сборник рассказов) и «Дитя Серебряного века» (поэтический сборник).

Человек, яко трава дние его,
яко цвет сельный, тако отцветет...

Псалом Давидов 102

МАТЬ И ДОЧЬ

Дона Власка стояла на самом верху лестницы, величавая, неприступная, похожая на сторожевую башню. Все в ее старом желтом лице напоминало крепостную стену, прорезанную бойницами: узкий, как щель, рот, тонкий нос и глаза, глядевшие из-под набрякших век, как из прорезей. Она смотрела бесстрастно, и лишь изломанная углом левая бровь говорила о высочайшей степени ее гнева. Джулиана остановилась как вкопанная, сморщила носик и тут же, взяв себя в руки, стала чинно и плавно подниматься по широкой мраморной лестнице. Но было уже поздно, и ее маневр не принес успеха.

* Иллюстрации Олеси Янгол (О. В. Чмыр)

— Джулиана! — прозвучал властный, чуть хриплый, голос,— я с прискорбием вижу, что наши уроки не идут впрок. Вы по-прежнему ведете себя крайне вульгарно, носитесь по лестницам, как деревенская девка. А недавно,— голос налился угрожающей силой, и Джулиана невольно поежилась,— нам сообщили, что вы катались на собаках брата!

Джулиана открыла рот, но кормилица предупреждающе стиснула ее руку.

— Мы не можем больше терпеть подобные выходки, и вы будете примерно наказаны.

Дона Власка многозначительно посмотрела на дочь, и у той сжалось сердце. «Бал!» — подумала она с ужасом.

— Вы будете заперты в своих покоях, пока не вышьете покрывала для Мадонны, Может, за этой работой с помощью Пречистой Девы,— Дона Власка перекрестилась и молитвенно закатила глаза,— вы, наконец, поймете, как должно вести себя молодой девице знатного рода! Вам уже скоро четырнадцать, вы уже невеста! а как ведете себя! Вы хотите опозорить нас, хотите, чтоб над нами смеялся весь город?!

Джулиана стояла, вздернув подбородок, и смотрела на мать.

— Я знаю, знаю, что вы строптивы. Тем хуже для вас,— голос матери стал ледяным.— Посмотрите на Лауретту! — она кинула нежный взгляд на маленькую завитую овечку, скромно потупившуюся за ее спиной,— она дитя, но уже может дать вам уроки девического поведения.

Лауретта порозовела, но взгляд, который послала ей Джулиана, заставил ее вновь скрыться за надежной спиной матери.

— Словом, будете сидеть и вышивать. Все прогулки и сладкое — отменяются! Еду вам будут приносить. Но вряд ли вы успеете к маскараду,— с притворной жалостью произнесла Дона Власка. Глаза ее блеснули. Джулиана еще выше вздернула носик. Почтенная матрона глянула на нее пристально и, развернувшись, как боевой корабль, поплыла во внутренние покои. Дерзкая девчонка вытаращила глаза и высунула язык. Лауретта дернула мать за рукав, но, обернувшись, Дона Власка увидела лишь почтительно склоненную в поклоне дочь.

— Да-а! — крикнула Дона Власка, внезапно раздражаясь,— а что это за растрепанная копна на голове? Сколько раз я говорила, что волосы надо убирать?!

Джулиана поспешно вытащила из рукава шапочку, расшитую гранатами, и косо нацепила ее на голову. Крутые кольца медных волос, зацепившись за ушки шапочки, торчали в буйном беспорядке. Матрона посмотрела на дочь несколько мгновений, затем, резко дернув плечом, развернулась и ушла.

— Кикимора! — плачущим голосом проговорила Джулиана,— я к балу не успею! Я повешусь тогда!

Она содрала шапочку с волос и сунула в рукав.

— Вы тоже хороши! — заворчала кормилица,— из-за вас меня скоро прогонят. Мало вам ваших покоев! Скачите там, хоть на голове ходите! Нет, там вам не интересно, все в парадные покои тянет! Себя, вишь, надо показать!

Джулиана обхватила толстые бока кормилицы и защебетала:

— Ну, миленькая! Ну, хорошенькая моя, славная! Кормилушка, Домникушка, ты ведь поможешь мне? Поможешь своей козочке, да? — она чмокнула старуху в седые усы.— Ах, усики у нас какие! — закричала Джулиана лукаво,— ну прямо как у синьора Флавио! Нет, лучше!

Нянька, растроганная и смущенная столь лестным, но странным для нее сравнением (синьор Флавио был городским алькальдом), звучно шлепнула Джулиану по заду.

— Ишь! — сказала она притворно сердитым голосом,— бесстыдница! Совсем распустились! Балую, балую я вас, а за что?

Джулиана с визгом бросилась ей на шею, чуть не сбив довольную старуху с ног.

СЕКРЕТ

— Домника! Противная! Долго ты еще будешь возиться? Я с ног падаю. Ну!

— Не вертитесь, стойте спокойно, синьорина, а не то я порву вам волосы. Ишь, раскричались! Терпения нет никакого! — ворчала старая кормилица, осторожно освобождая буйные пряди рыжих волос из-под драгоценной, тонкой золотой сетки, усыпанной камнями.— Стойте же смирно! Порву сетку, что тогда со мной Дона Власка сделает, а?

Джулиана на минутку притихла, но надолго ее не хватило — так распирала ее жуткая, жгучая новость! Она опять завертелась и запищала. Наконец волосы были освобождены и убраны на ночь, тяжелый, шитый золотом наряд снят, и Джулиана, скинув туфельки, козой прыгнула на широкое ложе и заскакала по нему, радостно визжа.

— Синьорина! Синьорина, опомнитесь! Что с вами? — возмущенно закричала старая Домника при виде такого бесчинства. Но Джулиана, не слушая, прыгнула на грудь кормилицы и залилась счастливым смехом.

— Домнушка моя, старенькая, усатенькая! — кричала она сквозь смех,— хочешь, я скажу тебе страшную тайну, страшный секрет?!

— Да уж хорош ли ваш этот секрет? То-то, я вижу, не в себе вы!

— Да как же в себе быть, когда такое случилось!

— Да что же это «такое», что вы из себя этак выходите? — встревоженно спросила кормилица.

— Я... я... влюбилась я! — выпалила, наконец, Джулиана и упала на спину, закрыв лицо руками. Но из-за растопыренных пальчиков один глаз нетерпеливо посматривал на няньку.

— Влюбилась! — оторопело проговорила Домника.— Как же это? В кого?

— А ты не скажешь никому? А меня корить не станешь? — допрашивала ее, довольная произведенным впечатлением, девочка.

— Да нет, синьорина, не скажу никому. Да что уж тут такого тайного-то? Небось это жених ваш, Нарсис?

— Фу-у-у! —Джулиана скорчила такую рожицу, будто съела что-то горькое или тухлое,— скажешь еще, Нарсис! Этот павлин противный!

— Как вы, сударыня, говорите о своем женихе! — возмутилась старая Домника,— такой юноша, из такого рода, да еще образованный! А хорош-то как!

— Что?! — закричала Джулиана возмущенно,— хорош?! Да у него руки мокрые и глаза как у устрицы! Противные!

— Какие ж глаза у устрицы? Да и нет их у нее вовсе.

— Есть, есть! Гадкие такие!.. А знаешь, как он смотрит? А-а-а, то-то, не знаешь. Он злой, а смотрит так, будто смеется над всеми, что они этого не видят. А я вижу, вижу — он еще какой злюка!

Старая нянька испугалась по-настоящему. Она знала характер девочки и чувствовала, что трудно, ох как трудно будет ей смириться под волю родителей. «Какие впереди страсти! Что-то будет!» — со страхом думала она.

— И чего же ты молчишь? — спросила Джулиана,— или ты не хочешь знать, в кого твоя козочка влюбилась? — Джулиана специально употребила ласковое имя, которым в минуты растроганности называла ее кормилица,— не хочешь знать — и не надо! Тебя давно уж пора отставить! Мне давно уж полагается дуэнья! Это я упросила родителя не прогонять тебя, а ты! — и она вдруг заплакала, бурно зарыдала. Домника бросилась к ней, отняла ее руки от мокрого лица и прижала девочку к груди.

— Ну, маленькая вы моя, ну не плачьте так,— забормотала она,— ведь старая нянька не выдержит, ведь ее сердце разобьется!

— А ты... ты не скажешь ни... никому? — всхлипывая, заговорила Джулиана,— никто не узнает, да?

— Никто, никто ничего не узнает. Только...

— Что — «только»? — вскинулась Джулиана.

— Только все равно же надо будет сказать когда-то родителям. Ведь они приняли предложение синьора Нарсиса,

— Нет! Помолвки еще не было! И не будет! — Джулиана высвободилась из объятий няньки и села, глядя прямо перед собой,— я за Нарсиса не пойду. Или за Романо, или... или я умру! — с плачем закончила она. Домника от ужаса открыла рот. Выпучив глаза и задыхаясь, она смотрела на девочку.

— Ну что ты смотришь! — закричала Джулиана.— Да, ты не ослышалась, Романо, Романо! И больше — никто!

— Но... но...— забормотала старуха,— это ж никак нельзя. Ведь...

— Что — «ведь»? Разве он хуже твоего Нарсиса? Да он в сто раз милей его и такой же знатный, если хочешь знать!

— Да так-то оно, так! Но ведь семьи ваши враждуют, кто же вас за него выдаст? Да и его родня никогда не согласится.

— Молчи! — крикнула Джулиана. Она зарылась лицом в подушку. Кормилица хотела было приласкать ее, да не посмела. Через несколько минут Джулиана села на постели.

— Иди,— сказала она сухим тоном,— я спать буду.

— Не посидеть ли с вами, синьорина? — робко спросила Домника. Джулиана не ответила. Она сидела ровно, вперив глаза в какую-то точку на портьерах. Кормилица молча, на цыпочках, вышла из спальни, неплотно затворив дверь,— вдруг девочка позовет. Покачивая головой, шепча что-то себе под нос, она уселась в свое уютное, под ее тело просиженное кресло и мгновенно уснула.

ОТЕЦ

Джулиана подошла к кабинету отца, пробормотала про себя молитву и перекрестилась. Впереди был разговор, который мог повернуть всю ее жизнь на скорбь или на радость. Отец был единственный человек, который по-настоящему любил ее и

понимал. Но Джулиана сознавала — то, что она ему сейчас скажет, может поставить их отношения под угрозу. Отец, конечно, никогда не отречется от нее — она это знала. Но что станет с ее чувствами к нему, если он ее не поддержит, Джулиана предусмотреть не могла.

Синьор Оттавио был человек ученый. Философ, богослов, он большую часть времени проводил в своем кабинете. Нередко к нему приезжали профессора, ученые монахи. Это раздражало Дону Власку — она считала их людьми низшего сорта, но это, пожалуй, единственное, в чем супруг остался тверд и продолжал принимать своих гостей с радостью и должным уважением. Все эти занятия замечательно скрашивали его жизнь и заполняли то сердечное пространство, которое должна бы была занять его супруга, но не могла, в силу сухости своего характера и чрезвычайной гордости. Оттавио привык к своему внутреннему одиночеству и никак не предполагал, что оно может быть когда-нибудь нарушено. Однако это случилось, и в его сердце поселилась маленькая девочка с буйными медными кудрями и нравом столь же неукротимым и гордым, как и у ее матери. Это случилось так.

Джулиане было пять лет. Ее уже одевали в отроческое платье и объясняли, что она теперь не маленькая. Однажды, как всегда по утрам, детей привели на поклон к родителям. Мальчики, почти уже юноши, изящно, по взрослому кланялись отцу и целовали руку матери. Джулиана тоже начинала осваивать этикет, но ее никто, кроме кормилицы, не хвалил и не поощрял. В это утро она, как всегда, поцеловала небрежно протянутую руку матери. Дона Власка не смотрела на нее. Ее глаза с непривычной для ее сухого лица нежностью были обращены на меньшую дочь, белокурую и голубоглазую Лауретту, которая только училась ходить и потому к матери ее подносила кормилица. Дона Власка потрепала девочку по румяной щечке — и малышка засмеялась, обнажив свои первые сахарные зубки. Джулиана, вздернув носик, отвернулась. И тут она увидела устремленный на нее взгляд отца, полный сочувствия и понимания. Она вся напряглась, но синьор Оттавио чуть прикрыл веки. И под усами его скользнула легкая улыбка. Джулиана вспыхнула, но отец, коротко глянув на нее, быстро перевел взгляд на сыновей.

Прошло две недели после этого маленького события. Оттавио сидел в кабинете, разбирая почту. Вдруг он услышал какой-то странный, тихий звук, как будто кто-то царапался в дверь кабинета. Он прислушался. Слабый звук повторился. Он встал, открыл дверь и замер: на пороге стояла маленькая Джулиана, подняв кулачок. Видно она собиралась постучать снова, но не успела.

— Входите, синьорина,— пряча улыбку, произнес заинтересованный родитель. Самостоятельность этой малышки изумила его.

— Я тут гуляла, а она... она сама...— и девочка указала на дверь.

— Сама отворилась? Понятно,— проговорил Оттавио совершенно серьезно,— ну что ж, раз она сама отворилась, придется вам зайти, синьорина.

Джулиана с опаской взглянула на него, но, увидев, что он смотрит совершенно спокойно, медленно, с достоинством вошла в кабинет. Она оглядела просторный покой и сразу же подошла к невиданной, изумительно красивой вещи: над изящно выточенной подставкой возвышался разноцветный большой шар, заключенный в серебряную плоскую сферу, окружавшую его кольцом.

— Это земное яблоко, дитя мое,— объяснил родитель,— вот эти голубые пятна — моря. А вот эти — земли. Видите зверя? Это самый большой морской зверь, его зовут — Левиафан.

Джулиана тронула разноцветный шар пальчиком — и он вдруг слегка повернулся. Девочка отдернула руку и с испугом взглянула на отца.

— Не бойтесь, он безобидный, он не кусается. Он даже очень послушный,— Оттавио слегка крутанул шар — и тот завертелся, играя зелеными, коричневыми, лазо-

ревыми краски. Девочка в восторге захлопала в ладошки и засмеялась. В это время за дверью послышался растерянный голос кормилицы:

— Синьорина, синьорина! Да где же вы? Я вас никак и не найду!

— Мы играли в прятки,— пояснила Джулиана. Оттавио кивнул понимающе:

— А теперь вам надо уходить. Ну, ничего, ничего,— добавил он, увидев, как глаза девочки потемнели,— как-нибудь зайдете еще. Я буду рад.

Малышка присела, как взрослая, одарив его радостным взглядом, и выпорхнула из кабинета. С тех пор она иногда приходила в его кабинет. Он позволял ей даже ползать по огромному столу, в столешницу которого была встроена карта из плотного шелка, вся изрисованная океанами и континентами, украшенная изображениями солнца, луны и всевозможных морских животных. Она «изучала» географию. Единственное, чего требовал родитель,— снимать туфельки: все же карта для него была некоторой святыней. Еще ей нравились книги, огромные фолианты, переплетенные в кожу или в бархат, с тяжелыми серебряными или медными застежками. Особенно красивым ей показался фолиант в лиловом бархате, с серебряной монограммой и двумя жемчужинками на маленьком замочке. Это был Лактанций, но малышка в философии не разбиралась. Просто ей позволялось иногда осторожно погладить бархат и потрогать овальные золотистые жемчужинки.

Синьор Оттавио с интересом наблюдал за дочерью, умилялся толстеньким ножкам, аккуратно переползавшим с одного материка на карте на другой. Замечал, как радостно вспыхивали и расширялись глаза девочки при каком-нибудь маленьком открытии. Душа его, давно укрывшаяся в неком глубоком уголке сердца и прочно затворившая его створки для всего внешнего, постепенно расширялась, наполняясь каким-то неведомым ему теплым чувством. Он редко разрешал дочери нарушать свои ученые занятия, и она никогда не изъявляла неудовольствия. Между ними возникло подобие некой игры: на обычном утреннем ритуале дон Оттавио чуть заметно моргал дочери — и она понимала этот знак как тайное благословение: можно зайти. Дона Власка никогда не замечала этих тайных знаков: ее нисколько не интересовали мысли и чувства ученого супруга. С некоторых пор эти перемигивания стало наблюдать одно любопытствующее существо — маленькая Лауретта, и ее очень интересовало — что бы все это значило? Но до поры — до времени это оставалось для нее тайной.

Кабинет родителя находился в коридоре, следующим за галереей, в которой обычно играла Джулиана со своей кормилицей. И несколько лет эти визиты оставались тайной для всех, кроме старой Домники. Она всегда дремала «на посту» в старом кресле, поставленном для нее в галерее. Но однажды Лауретта, проходя из своей комнаты с нянькой и увидев, как Джулиана скользнула в кабинет отца, тут же донесла об этом матери. Дона Власка сочла совершенно недопустимым для юной девицы пребывание в кабинете супруга.

— Вы еще заразите дочь своими пристрастиями! То-то будет всем на удивление — ученая невеста! — И она категорически запретила дочери посещать кабинет отца. И вот уже несколько лет Джулиана не переступала заветный порог. Но сейчас, вся внутренне дрожа, она собиралась войти в сию ученую обитель. Решался вопрос всей ее жизни. И ей нужен был совет, нужна была помощь отца — единственного человека, которому она доверяла.

Она еще раз перекрестилась и постучала в дверь. Послышались неторопливые шаги и Оттавио, открыв дверь, застыл на пороге. Несколько мгновений он глядел на дочь, затем посторонился, пропуская ее внутрь.

— Что-то случилось? — спросил он. Джулиана молчала.— Моя бронзовая птичка чем-то озабочена. Что-то важное волнует ее чудесную головку?

Джулиана не поддержала предложенный ей тон разговора.

— Нет,— сказала она сухо,— бронзовой птички больше не существует.

Оттавио промолчал. Он ждал, когда она сама начнет разговор и разъяснит его столь многозначительное начало. Глядя на нее, ожидая ее следующих слов, он вдруг увидел, как резко повзрослела дочь. Не было и следа детской беспечности. Губы сжаты, она даже не оглядела столь любимое ею прежде место. «Какое-то горе. Она переживает какое-то сильное горе. Но что это может быть? Ведь ничего не случилось, все спокойно вокруг»,—думал он, но сердце его почему-то дрогнуло.

— Я не пойду за Нарсиса,— наконец сказала Джулиана.

— Что? Что? — удивленно спросил отец.

— Я не пойду за Нарсиса! — еще более четко проговорила девушка.

— Как? Почему? Должна же быть какая-то причина.

— Не могу!

— Что значит — «не могу»? Разве, дитя, у тебя есть своя воля? Тебя благословляют родители, и этого должно быть достаточно.

— Так решила моя матушка, я ведь знаю. А вы... вы, отец? Неужели вы тоже будете неволить меня? Он мне просто... отвратителен! — выпалила она и перевела дух.

Синьор Оттавио помолчал. Затем, будто придя в себя, сказал:

— Но что же мы стоим? Проходи. Проходи и садись. Я чувствую, что разговор наш будет долог.

Джулиана молчала, разглядывая серебряные узоры на своем платье. Потом она подняла голову и сказала совершенно спокойно:

— Вы правы, отец, ничего не бывает просто так. И у меня не просто... Хотя, пожалуй, и очень просто,— она помолчала и так же спокойно добавила,— я люблю другого человека.

У Оттавио перехватило дух, он хотел что-то сказать, такое, чтобы сразу указало дочери на нелепость ее заявления. Но он тут же понял, что ничего такого говорить не надо. Не за тем пришла к нему его гордая, строптивая дочь. Она пришла за утешением, за помощью. Он помолчал. А потом заговорил мягко, спокойно, в своей обычной манере:

— Детка моя, я хочу, чтобы ты мне поверила. Я уже много прожил, много видел. И мне тоже приходилось смирять свое сердце.

Джулиана удивленно глянула на него и хотела что-то сказать, но отец остановил ее:

— Погоди, послушай меня. Ты еще только начинаешь жить, тебе всего лишь тринадцать.

— Четырнадцать через три месяца! Разве не в этом возрасте моя матушка родила моего старшего брата?

— Ну, хорошо, пусть. Пусть четырнадцать. И все же это такой детский возраст! Какая любовь? Я понимаю, можно вспышку чувств принять за любовь, но...

— Нет, отец, вы не понимаете,— спокойно и строго сказала Джулиана,— ни о какой вспышке чувств речи быть не может. Я люблю этого юношу, и только за него я пойду, а иначе...

— Что — «иначе»? Неужели ты думаешь, что то, что случилось с тобой, произошло впервые в этом мире? — он смотрел на нее серьезным, глубоким взглядом, пытаясь предугадать, что таится в этой головке, на что способна эта девочка.

— Я ни о чем таком не думаю,— сухо ответила она,— и меня не волнуют другие. Для меня есть только одно: он и я.

Оттавио вдруг почувствовал, что продолжать подобный разговор бессмысленно. Эта юная девушка, его жизнерадостная, бойкая дочь говорила, как совершенно взрослый, много испытавший человек. Он подошел, обнял ее за плечи и по тому, как она напряглась, он понял, как его бедная девочка волнуется. «Откуда в этой малышке такое владение собой? Да-а, это не простой ребенок, это сильное, обладающее волею существо». И он окинул Джулиану каким-то новым, оценивающим взглядом.

— Давай поговорим спокойно,— сказал он,— ты же знаешь мать. Ее железную волю не сломит и не изменит никто. Если уж она что-то решила — это приговор. Поверь мне, я прожил с ней двадцать один год.

Джулиана молчала.

— Ты знаешь, детка, долг... это тяжкая обязанность. Но все общество человеческое, вся жизнь держится только этим... Когда рушатся устои, а я не о государстве говорю, о жизни человеческой... так вот, когда это происходит, начинаются трагедии. Такие события, которые могут просто сокрушить все!

Джулиана молча смотрела на отца. Она не вслушивалась в его разумные речи, не могла. Просто понимала, что и он, такой умный, такой добрый человек, ничем не сможет ей помочь. Ведь то, что он сказал о матери, было известно ей, Джулиане, с самых младенческих пелен. Она вдруг согнулась и, упав локтями на колени, громко заплакала. Оттавио растерялся. Все его благоразумие покинуло его, и он сам еле сдерживался, глядя на сотрясаемые рыданиями худые, совсем еще детские плечи дочери.

— Деточка! — закричал он,— не надо! Не плачь так! Еще же ничто не произошло! Будем молиться, будем просить... Ах! Как я все это знаю! — с силой воскликнул он,— как я все это пережил сам когда-то!

Джулиана на миг застыла и затем, оторвав руки от заплаканного лица, спросила:

— Вы?.. Что вы такое пережили, отец? Неужели вы... любили когда-то?

Он сидел, наклонив голову, пытаясь побороть волнение. Этот разговор вывел его из давно усвоенного внешнего и внутреннего равновесия. Чувства, усилием воли загнанные куда-то в неведомую ему глубь, таившиеся там, как некий затонувший с кораблем клад, резко, как забродившее вино, выплеснулись в его грудь. Дочь, дочь! Можно ли было когда-нибудь подумать, что этот ребенок в одно мгновение сокрушит крепость, сооруженную им вокруг собственного сердца двадцать один год назад!

— Да, Джулиана,— сказал он глухо,— я любил. Я знаю, что это такое. Я понимаю твое страдание.

Он замолчал. Джулиана пристально смотрела на него и ждала следующих слов.

— Но, как видишь, я смирился с волей моих родителей... Я женился на Власке, хоть и не любил ее. Больше того — она была мне неприятна, хоть в те годы она была довольно красива... Но... я не люблю таких женщин. Я люблю мягких, нежных. Такую девицу я знал. И любил всем сердцем. Но... вражда наших семейств не давала мне надежды... и все же я надеялся, я думал склонить на жалость ко мне мою мать... Она была добрейшая женщина, и отец не всегда мог противостоять ее желаниям. Но...

Джулиана слушала с жадностью.

— Что «но», отец? — воскликнула она нетерпеливо,— что же могло вам помешать?

— Обычная житейская история,— с горечью проговорил отец,— дела родителя пошли плохо, ему нужны были деньги, чтобы нам не разориться. Словом, мне пришлось подчиниться, выкинуть из головы все мои планы и мечтанья.

— Проклятая вражда! — гневно крикнула Джулиана,— из-за чего она? Вы знаете, отец? Скажите! Ну, скажите же — из-за чего все должны быть так несчастны?!

Он молчал. Молчала и Джулиана. Затем она быстро спросила:

— А я знаю ее? Она жива? Или это было в другом месте?

Оттавио помедлил, но все же решился — он доверял дочери:

— Да, она жива. И до сих пор хороша, невзирая на годы и рождение четырех сыновей. И она тоже живет здесь!

— Значит... я ее знаю,— задумчиво проговорила Джулиана.

— Ты ее знаешь. Это... Симонетта, Симонетта ди Монтано!

— Монтано? Значит, Романо мог бы быть моим братом?!

— Романо? Почему ты говоришь о Романо? — удивился дон Оттавио, поражен-

ный не только названным именем, но и интонацией, с которой дочь произнесла это имя. Вдруг страшная догадка, как молния, пронзила его ум, и сердце его чуть не остановилось. Он резко побледнел и схватился за грудь.

— Отец! Отец, что с вами! — вскричала встревоженная Джулиана, но он только помахал рукой, чтобы она не подходила.

— Сейчас, сейчас пройдет... я просто вдруг подумал, что...

Джулиана молчала. Она боялась произнести хоть слово, боялась, что отцу станет хуже. Дон Оттавио резко выдохнул воздух, откинулся в кресле и уже почти спокойно посмотрел на дочь. Она опустила голову.

— Я угадал,— помолчав, сказал он,— да?

Она тихо кивнула, все еще не глядя на него.

— Так,— сказал Оттавио совсем спокойно,— разве ты не знаешь, что наши семьи состоят в старинной вражде? — Она молчала.— Ну хорошо, это и на самом деле не может убедить твое сердце. А разве ты не знаешь, что случилось сегодня? Три часа назад?

Джулиана с тревогой посмотрела на отца. Она выходила в церковь и, вернувшись, сразу прошла в свои покои.

— Нет, не знаю,— произнесла она неуверенным голосом,— а что могло случиться?

— Два часа, нет, три часа назад принесли Теобальдо. Раненого.

Отец говорил бесстрастно, но Джулиане стало страшно. Побледнев, она смотрела на родителя. Глаза ее потемнели.

— И знаешь, кто его ранил, вернее, чуть не убил? Еще бы волосок — и удар пришелся бы сразу в сердце. Слава Всевышнему, защитил мое дитя,— и Оттавио перекрестился.

— Кто?.. Кто это сделал?! — белыми губами проговорила Джулиана, уже догадываясь, но не желая верить.

— Твой Романо! Ты ведь его любишь, да?

Джулиана закрыла лицо руками и ничего не отвечала. Оттавио стало жалко ее.

— Я потому здесь сижу, что рана оказалась не смертельной. Теобальдо придется полежать, полечиться. Возле него лекарь и хорошие сиделки. Когда ты пришла со своим разговором, я понял, что тебе ничего не известно, и решил уделить тебе внимание, разобраться в твоей скорби... Но такое!.. Ты понимаешь, я не мог спокойно услышать имя человека, который чуть не убил моего сына и может погубить мою дочь... Я хочу помочь тебе, Джулиана.

Она вскинула голову и взглянула на отца, но выражение его лица смутило ее.

— Да, я помогу тебе. Но не так, как ты можешь думать. Я помогу тебе как отец, как человек, отвечающий перед Богом за твою судьбу. За твою жизнь.

Он смотрел спокойно и прямо. Джулиане снова стало страшно.

— О Романо не может быть и речи. Я ускорю помолвку и брак. Как только Нарсис вернется из Венеции, а это примерно недели через три, объявим помолвку. С этого момента к вам будет приставлена дуэнья. Поверьте мне, дочь моя, чем раньше все свершится, тем меньше вы будете страдать. Нарсис — достойный человек, и он любит вас. Вы смиритесь. Это будет... Вот и я — как ни глубока была рана, смирился же! И теперь имею такую прекрасную дочь! — и он с улыбкой посмотрел на нее. Затем, желая подбодрить, добавил,— в смирении, дитя, есть утешение. Оно обязательно приходит, если человек сумеет сделать над собой усилие. Мужайтесь, дитя, а я помогу вам... Я поддержу вас в трудные минуты. Вы всегда можете приходить сюда, поверьте.

Джулиана казалась спокойной. Молча выслушав отца, не проронив ни слова в ответ, она глубоко поклонилась и вышла из кабинета. «Бедная девочка»,— вздохнул он. На сердце у него было тревожно.

БРАТ МОЙ — ВРАГ МОЙ

Старая Домника не на шутку была встревожена. Джулиана не ела ничего и не желала с ней разговаривать. Целыми днями, похудевшая, темная, она или лежала на постели, или стояла у окна и, не отрываясь, глядела в осенний сад. Чего она ждала? Нянька не знала.

На второй день прислали от Доны Власки узнать, что с дочерью, почему она не выходит, как положено. Джулиана велела передать, что съела что-то негодное и поэтому постится, но что уже лучше. Можно не беспокоиться. На другой день она пошла в покои раненного брата. Теобальдо лежал бледный, с лихорадочно блестящими глазами. Возле него сидела, перебирая четки, монахиня. На столике лежали всякие медицинские предметы для ухода за больным и стоял фарфоровый тазик с водой. Взглянув на входящую сестру, Теобальдо поразился. «Неужели она так любит меня? — подумал он,— как похудела и побледнела!»

— Сестрица моя прекрасна, стоит ли ей так скорбеть? Ведь я жив и дела мои неплохи.

Джулиана, сдвинув брови, взглянула на него и, вздохнув, сказала:

— Я рада за вас, братец. Хотя вид у вас пока что не лучший. Сестра! — обратилась она к сиделке,— не могли бы вы ненадолго перейти в соседние покои? Мне хочется поговорить с братом наедине.

Монахиня молча поклонилась и вышла. Джулиана смотрела на брата, не решаясь начать разговор. В комнате повисло молчание. Наконец Теобальдо нарушил его:

— Сестра, вас что-то беспокоит? — спросил он.

— Я не знаю, можно ли вам разговаривать, вид у вас еще очень больной.

— Нет-нет, мне сегодня намного лучше. Я чувствую, что если так пойдет дело, через недельку я встану.

— Хорошо бы,— промолвила Джулиана.— Я, собственно, просто хотела узнать, как это все вышло? Но если вам тяжело об этом говорить — не будем.

Теобальдо нахмурился.

—Что именно? — спросил он.

— Почему вы дрались с Меркурием?

— А как же я мог стерпеть? Ведь этот негодяй нанес оскорбление нашему роду — он смеялся над нашим гербом!

— Над гербом? Как это?

— А вот так: кричал на всю площадь, что льву на нашем гербе давно пора подрезать гриву! И что секира с герба ди Монтано рано или поздно это сделает! И как я мог стерпеть? Вы бы видели, с какими ужимками это все говорилось! Ну ничего, я вбил его язык в его дерзкие уста!

— И тогда вас вызвал... Романо?

— Да!

Джулиана замолчала. Она смотрела на брата, который от только что пережитого воспоминания побледнел еще больше, и понимала, что брат теперь — самый лютый враг ее возлюбленного и, получается, ее враг.

— Ничего, ничего! — воскликнул Теобальдо разгорячено,— я еще посчитаюсь с этим молодчиком!

— С кем?! — вскрикнула Джулиана.

— С Романо ди Монтано. Вот только заживут раны, обрету прежнюю форму, уж я его найду!

— Брат! — вне себя крикнула взволнованная девушка,— оставьте! Оставьте! Неужели мало крови пролито? Откуда такая ненасытность!

— Кровь, между прочим, пролита моя, дорогая сестра. И вы считаете, что я должен это стерпеть? Или вы так беспокоитесь обо мне? — он взглянул на нее с подозрением. Но подлинная правда не могла прийти ему в голову, просто он смутно ощущал некоторую странность ее волнения. Джулиана ничего не отвечала. Только смотрела расширенными глазами на брата, который нес в себе таящуюся до времени смерть ее возлюбленному. Потом, резко повернувшись и закрыв лицо руками, она выбежала из спальни. Монахиня с недоумением посмотрела ей вслед и, пожав плечами, пошла к своему подопечному.

На следующий день, к вечеру, вбежала, задыхаясь, взволнованная Домника.

— Синьорина! Синьорина! — прокричала она,— ваш отец идет сюда!

— Отец? Сюда? Зачем? — в недоумении воскликнула Джулиана, но родитель уже входил в покои. Махнув повелительно рукой кормилице, он взглянул на дочь и остановился. Первым движением его души было подойти, обнять, но она смотрела так отчужденно, даже враждебно, что он не решился.

— Что с вами, дитя? — спросил он. Джулиана не отвечала.— Вы так похудели, побледнели. Не больны ли вы?

— Нет,— сухо ответила она и отвернулась.

— Вы не смотрите на меня, на отца, который так вас любит? — потрясенно проговорил Оттавио.— Вы не хотите со мной говорить?!

Джулиана повернулась и посмотрела на него с вызовом:

— О чем нам говорить с вами, отец? — спросила она холодно.— Все уже сказано. Я выполню ваше благословение. Что еще вы хотите от меня?

Оттавио растерялся. Он шел, надеясь утешить дочь, помочь ей в ее тяжких переживаниях и, может быть, отогреть ее на своей груди. Но девушка стояла, как мраморный столп, и было окончательно ясно обоим, что о прежнем доверии и близости не может уже быть и речи. Синьор Оттавио тяжело вздохнул и выпрямился.

— Я рад,— сказал он с холодным достоинством,— что благоразумие вернулось к вам. Пройдет время — и вы, возможно, поймете, что прав был я. А пока — что ж? Крепитесь. Мне нечего больше сказать вам,— и, повернувшись, он вышел, больше не оглянувшись на свою окаменевшую дочь.

Как только дверь закрылась, Джулиана упала ничком на постель и лежала так, не шевелясь и не издавая ни звука. Заглянула старая Домника и, покачав головой, закрыла дверь.

МЕЖДУ ГОРЕМ И НАДЕЖДОЙ

Ночью, внезапно проснувшись, Домника услышала глухие, безутешные рыдания. Какое-то время старуха крепилась, но жалость разрывала ее сердце, и она не выдержала. С плачем открыла она дверь и увидела, что Джулиана лежит в том же положении, одетая, и даже туфелька одна упала на ковер, а другая висела на пальцах маленькой ножки. Услышав звук шагов и плач старой кормилицы, она замолчала. Домника опустилась на колени перед ложем и, гладя плечи, спину страдающей девочки, со слезами заговорила:

— Ну что же это такое, моя госпожа! Ведь этак и помереть можно от горя, сердечко-то не каменно.

— А я и хочу, хочу умереть! — крикнула Джулиана в подушку.— Я не могу. Я... я...— и она зарыдала еще громче, безудержней. Старуха зарыдала вместе с ней. Вдруг Джулиана села и, глядя куда-то в тень тяжелых портьер, закричала:

— Они рады, рады будут моей смерти! Они не любят меня, никто! Я думала, что отец... но он тоже... он такой же! — она опять упала лицом в подушку.

— Я люблю вас, синьорина,— дрожащим голосом пробормотала кормилица,— больше всего на свете, больше жизни! — и она заплакала, засморкалась, а Джулиана вдруг рассмеялась. Старуха оторопела — этот неуместный смех напугал ее.

— Вот-вот! — вперемежку со странным смехом, быстро заговорила Джулиана.— Одна лишь ты, старая, меня жалеешь! А они? Я пообещала отцу выйти за Нарсиса, но я не могу, не могу! — и она заплакала жалобно, как ребенок.

— Домникушка,— всхлипывая и обнимая старуху, зашептала ей в ухо,— и он, он! Тоже не любит меня. Не любит! Забыл. Прячется, наверное, от гнева герцога, Что я ему? Он... он ...— и, не договорив, она уткнулась в шею старухи.

— Не мог он забыть вас, моя красавица, козочка моя,— жарко зашептала нянька, поняв, наконец, главную причину ее горя,— да разве ж такую красавицу забыть можно? Нет и нет! — убежденно воскликнула старуха. Джулиана невольно подняла голову и посмотрела на нее с надеждой.

— Да и не убил же он нашего господина! Ну ранил его, да и то... сколь уж они, петухи эти, дерутся, дырявят друг друга, и ничего им не бывает. А мы тут плачем о них! — Она выпрямилась и уверенно сказала:

— Помяните слово мое, синьорина! И пары дней не пройдет, как даст знать о себе молодой господин!

Слова ее были прерваны глухим стуком. Стукнуло на балконе.

— Домника! — встрепенулась Джулиана,— посмотри, посмотри скорее, что там?

Домника открыла балконную дверь и со свечой в руках стала осматривать пол. Послышался ее удивленный возглас, и она появилась, держа в руках небольшой сверток:

— Вот,— сказала она,— вот это лежало на полу.

— Дай сюда! — Джулиана подбежала и выхватила у нее сверток. Это был шейный платок красивого и тонкого лилового шелка. Развернув его, девушка увидела камень, завернутый в бумагу.

— Записка! — крикнула она.— Записка, Домникушка! Принеси свет поярче... это от него, я чую, что от него!

Домника зажгла светильники. Джулиана, быстро поворачивая смятую бумагу, читала написанное. Лицо ее вспыхнуло румянцем, глаза загорелись. Бросив записку на постель, она кинулась на шею старой няньки, смеясь от радости:

— Домника! Старушка! Он помнит! Он помнит обо мне!

— А я что говорила? — ликующе воскликнула старуха.— Да разве ж забудешь такую вишенку. Касаточку такую!

— Он был ранен, Домника! Пишет, что его зацепило слегка, надо было чуть подлечиться! — и она, схватив записку и покрывая ее поцелуями, закружилась по комнате. Старая нянька стояла, покачивая головой, и с улыбкой смотрела на нее.

Вдруг тихий свист раздался под балконным окном. Джулиана выглянула. Из тени, на свет луны выступила фигура, и девушка увидела подростка.

— Госпожа! — приглушенным голосом крикнул он.— Что передать синьору? Он велел взять ответ.

— Сейчас! — тоже шепотом крикнула Джулиана и, схватив записку, на другой ее стороне написала несколько слов. Завернув в бумагу камень, кинула его в темноту сада. Мальчик схватил его налету и мгновенно скрылся.

В течение недели ловкий подросток появлялся еще пару раз. «И как он только проскакивает, постреленок!» — восхищалась кормилица. Джулиана ходила то радостная, то задумчивая, видно было, что она что-то про себя решает. В один из долгих, молчаливых вечеров она взглянула на кормилицу странным взглядом, вздохнула и, наконец, сказала:

— Я позвала его. Он придет.

— Куда? — испугалась старуха.— В сад? А вдруг его поймают!

— Не поймают! И он недолго будет в саду, его не успеют заметить, потому что ты приведешь его ко мне!

Она строго глянула на оторопевшую кормилицу. Та силилась что-то сказать, но Джулиана не дала ей и рта раскрыть:

— Ты любишь меня, старая? — спросила она вкрадчиво. Старуха кивнула.

— Значит, ты не хочешь, чтобы я умерла с тоски?

Нянька прижала обе руки к груди:

— Но, синьорина! — умоляюще заговорила она. Джулиана резко прервала ее. Нахмурив лоб, она крикнула:

— Ничто не помешает нам увидеться! Ничто! А если ты вздумаешь что-нибудь кому-нибудь...

Старуха затрясла головой:

— Нет, нет, госпожа, никому не скажу. Но ведь грех какой!

Джулиана отвернулась:

— Иди,— сказала она через плечо,— я буду спать.

СВИДАНЬЕ

Наступил следующий вечер. Старая нянька как всегда, дремала в кресле. Вдруг сквозь сон ей почудился тихий свист. Встав, она проковыляла к балкону и, вглядевшись в темноту сада, скорей не увидела, а почувствовала движение в смутной его глубине. Вот показалась фигура, закутанная в плащ. «Он!» — пронеслось в голове Домники. Фигура быстро приблизилась, и, не успев как следует испугаться, старуха увидела, как, ловко подтянувшись, неизвестный перепрыгнул внутрь балкона. На старую Домнику жарко глянули нетерпеливые карие глаза.

— Ну! — раздался шепот у самого уха.— Веди!

— Синьор! Синьор! — запричитала она.— Меня же выгонят, убьют! Вы понимаете, как все это опасно!

— А-а-а,— прошипел Романо,— держи, старая корова! Неужели ты думала, что я тебя обману? Да я готов все состояние отца и братьев в придачу отдать, лишь бы добраться поскорей до моей госпожи!

Кормилица растаяла от такой страсти.

— Вы уж, только не знаю, как вас называть, молодой синьор...

— Романо!

— ...молодой синьор Романо,— заговорила она подобострастно,— вы уж пожалейте мою синьорину, она такая молоденькая, такая нежная!

Глаза Романо сверкнули. Он дернул старуху за рукав:

— Ну что же ты? Что стоишь? Веди!

Домника посмотрела на него и, увидев горящий, как у молодого волка, взгляд, зашептала снова:

— Вы, синьор Романо, больно горячи. Боюсь, помнете нашу козочку!

— Не твое дело, старая! — хмыкнул Романо.— Забыла, небось, как тебя мяли, когда молодая была.

Кормилица громко хихикнула, но, спохватившись, зажала рот руками и осмотрелась. Везде было тихо.

— Так то — я,— зашептала она,— мы — народ простой, дело грубое — помнут, отряхнешься — и как не бывало. А Джулиана-деточка, она такая...

— Ладно! — властно оборвал молодой Романо.— Хватит! Время уходит. Веди! Потом еще получишь, не сомневайся.

Кормилица кивнула и открыла дверь в опочивальню. Романо мягко, по-кошачьи, крался за ней.

* * *

— Ой! Кто это? — испуганно прошептала Джулиана. Она, конечно, догадывалась, кто это, и ждала его, но сейчас ей сделалось страшно. Романо, распахнув плащ и раскинув руки, двинулся к ней.

— Это я, мое солнце,— прошептал он, еле сдерживая дыхание.

— Ты пришел, пришел! — воскликнула Джулиана, в то же время отступая от него.

— Пришел, моя принцесса. Ты рада?

Джулиана, не в силах от волнения говорить, горячо кивнула головой. Романо сделал еще шаг и заключил ее в объятия. Теперь его глаза, темные, жаркие были совсем близко от ее лица. Крепко держа ее, он принялся осыпать поцелуями ее бледное личико, приговаривая:

— Как же не прийти к такой чудесной девочке... Пришел, прилетел боевой петушок к своей нежной курочке...

— Боже мой! Неужели я обнимаю тебя!.. Мог ли я мечтать об этом!.. Ты дрожишь?

— Я боюсь, Романо!

— Не бойся меня, моя девочка, я весь твой. Скажешь — уйду, исчезну, скажешь — останусь.

Руки его тем временем искали на ее спине застежку. Он нащупал, наконец, целый ряд мелких, граненых пуговиц.

— О-о! — вскрикнула Джулиана,— что ты делаешь?!

— Пытаюсь извлечь тебя из этого дурацкого кокона.

— Зачем?

— Хочу проверить — налились ли мои заветные яблочки,— бормотал, задыхаясь, Романо, а руки его продолжали свое дело.

Джулиана отскочила и с негодованием уставилась на него. Романо, глянув в ее разгоревшееся лицо, отошел и убрал руки за спину.

— Джулиана,— сказал он с обидой,— ты играешь со мной? Зачем!

— Я... я не играю, но... Романо! Ведь это грех. Страшный грех!

— Грех? — спросил он, успокаиваясь,— а не грех, если тебя выдадут за этого павлина, индюка этого. Как его там? Я даже не помню его имени!

— Нет! Нет, только не это!

— А не грех, если меня женят на Марсии? Я видеть ее не хочу, не то, что жениться!

— Тебе сватают Марсию?!

— Да,— ответил он, чуть приблизившись к ней,— но разве тебе не все равно?

— Мне? Мне все равно? — вскричала Джулиана и вдруг заплакала. Романо, растроганный, схватил ее в объятия и стал целовать слезинки, мелким градом осыпавшие ее щеки.

— Ну не плачь, не плачь, моя принцесса. Я же тут, по твоему зову! Ты же сама писала мне: «Приходи скорей, я решилась». Или ты передумала?

Джулиана отрицательно покачала головой.

— Ну, вот я и пришел. Ты рада, мое дитя?

Она кивнула, все еще пряча лицо на его груди. Романо стал нежно гладить ее склоненную головку, белые плечики с детскими ключицами. Губы его прильнули к ее губам, а пальцы рвали пуговицы, бесконечный ряд пуговиц на бархатной спинке ее платья.

— Что ты делаешь, Романо? — вскричала она.

— Тише! — прошептал он.— Весь дом перебудишь!

— Да-а-а... А зачем ты рвешь пуговицы? Что ты собираешься делать?

— Что? Сейчас увидишь. Я ничего нового не придумал. Делаю то, что делал твой отец с твоей матерью. А иначе — как мы получим дитя, которое нас спасет?

Джулиана смотрела на него растерянно — это был ее план! Но сейчас ей стало страшно. Ткань затрещала.

— Романо! Романо! Ты же порвешь! Меня убьют за такую порчу, и потом... как я объясню это?

— Тогда снимай сама.

Джулиана отступила на шаг и, закусив губу, отчаянно затрясла головой.

— Ну что ж,— помолчав, сказал Романо,— видно, рановато ты меня позвала... Да любишь ли ты?

Глаза Джулианы наполнились слезами, но она молчала.

— Что ж,— сказал Романо печально и твердо,— видно, пора уходить, но будет ли еще, возможность прийти к тебе? — он сделал шаг к балкону.

— Нет! — крикнула Джулиана и бросилась к нему.— Не уходи! Я не знаю... Я умру, если с тобой что-нибудь случится! — и она кинулась ему на грудь. Романо гладил ее по голове, как маленькую.

— Промочишь мой колет, глупышка,— шептал он,— он уже промок, и рубаха, наверное, уже вся мокрая. Но...— он замолчал.

— Что — но? — спросила сквозь слезы Джулиана.

— У тебя носик красный!

— Нет, что ты хотел сказать! — нетерпеливо крикнула Джулиана.

— И губки набухли!

— Ты смеешься?

— Нет-нет,— шепнул он ей в самое ушко,— но... пуговки-то расстегнуть надо, а?

Джулиана отпрянула от него, Романо смотрел на нее и молчал, не двигаясь.

— Я... я сама,— проговорила она нерешительно. Щеки ее горели,— а то ты и вправду порвешь пуговицы.

Неловкими движениями она принялась за это нелегкое дело.

— Меня ведь кормилица всегда одевает-раздевает.

Под расстегнутыми пуговицами виднелся корсаж с несколькими десятками мелких крючков. Романо, чертыхаясь, принялся их расстегивать, пальцы его дрожали. Наконец, не выдержав, он рванул три последних крючка — и тяжелая, шитая серебром шелковая роба как бы нехотя сползла с тела девушки и осела блестящим сиреневым сугробом вокруг ее колен. Джулиана смотрела на него глазами жертвы. Романо

невольно отступил на шаг — перед ним стояла тоненькая, как прутик, девочка с глубокой впадинкой между ключицами, почти бесплотная.

— Джулиана! — потрясенно прошептал он.— Какая ты маленькая! — и упал к ее ногам, обняв ее детские коленки. Джулиана сорвала шапочку, заколки выпали — и блестящий водопад волос обрушился, покрыв медными тугими кольцами черные кудри и спину Романо.

* * *

Опершись на локоть, Романо неотрывно глядел на бледное личико своей возлюбленной. Она лежала, прикрыв глаза, и легкая улыбка, маленькая ямочка на щеке, бисеринки нежного пота на прозрачном виске — все вызывало у Романо незнакомую ему, какую-то щемящую нежность. Он дунул на ее висок и прошептал:

— Какая же ты красавица, звездочка моя!

— Я? Красавица? — Джулиана удивленно открыла глаза,— какая же я красавица?

— Еще какая! — убежденно воскликнул Романо.

— Нет, ты шутишь? Вот моя сестра — красавица, на самом деле.

— Какая это? Белобрысая, что ли? — возмутился Романо.

— Никакая не белобрысая. Белокурая. И потом, у нее такие чудесные голубые глаза! Но... Я ее не люблю. Она доносчица! Было время, мне хотелось расцарапать ее румяные щечки и потаскать ее за патлы. Да!

— Да ты у меня, видать, драчунья! — засмеялся Романо,— но ничего, я не люблю манной каши!

— Как это — манной каши?

— Да-да, мне подавай чего-нибудь с перчиком... Нет, ты очень красивая. А какая у тебя кожа!

— Какая? — заинтересованно спросила Джулиана.

— Белая и теплая. Как молоко! Только знаешь, настоящее молоко, только надоенное. А то, которое постоит и его разольют в кувшины, становится как бы мертвым и чуть голубоватым.

Джулиана с удивлением смотрела на него: он как-то странно разгорячился.

Поймав ее взгляд, Романо засмеялся:

— Смешно сказать, но с молоком у меня вышла целая история.

Джулиана удивилась еще больше.

— Когда мне было лет пять или шесть, не помню точно, я упросил старшего брата взять меня в деревню, где была конюшня. Кони там паслись на воле. Поглядела бы ты, какая красота!

Джулиана слушала, не отрывая глаз от его оживленного лица.

— Так вот,— продолжил Романо,— там был еще большой коровник. И пока брат выезжал коней, я бегал туда. Он даже и не знал об этом, а то бы наверняка запретил. А мне там понравилось все: и добрые морды коров — я быстро перестал их бояться, и запах сена, и даже сам запах коровника. Но особенно мне понравилось, когда работник доил коров. О, это замечательное зрелище! Оно меня просто завораживало.

— Правда? — спросила Джулиана,— а я никогда этого не видела.

— Нет, правда, чудо! Такая теплая, белая струя брызжет и со звоном падает в сосуд. А потом — пена, тоже такая на вид теплая. Вот как твоя кожа. И запах! Вкуснее не знаю. Симоно давал мне даже попробовать. О, это нектар! Словом, я бегал туда все дни, что мы были там с братом. И видно, запах этот въелся в меня, в волосы. Потому что, когда мы приехали домой, и мать моя встречала нас на крыльце, она обняла меня и тут же отпрянула. «Романо! — закричала она.— Что это за запах? Вонь какая-то. От тебя несет, как от мужика!» Я не хотел ей рассказывать. Но пришлось. Деться было некуда. Я пытался смягчить ее своим восторгом, но это не удалось. И она взяла

с меня слово, что я не буду больше туда ходить. Иначе она запретит мне ездить с братом. А этого мне — ой как не хотелось! Ведь он учил меня потихоньку верховой езде. И я, с болью в сердце, дал обещание.

— И ты больше не ходил туда, к своим коровам?

— Да, как же! — засмеялся Романо,— еще как ходил! Это было сильней моей воли — я ощущал во всем этом какую-то магию живой жизни. Не знаю, как тебе объяснить.

— А я представляю, ты так рассказываешь! Я даже почувствовала все это с тобой вместе. Как будто сама все видела.

— Умница моя!

Романо поцеловал ее в глаза:

— Так вот, главное — как все это кончилось!

— А как?

— Оказывается, мать сильно ругала моего брата, что такому малому ребенку он дал столько свободы. И братец быстро выследил меня. И, конечно же, доложил синьоре Симонетте!

Романо весело засмеялся. Видно было, что ему доставляет великое удовольствие вспоминать и рассказывать о своем детском приключении.

— И что же с тобой было потом? — спросила Джулиана с живейшим интересом.— Тебя наказали?

— О! Еще как! Я запомнил это наказание. Запомнил еще и потому, что потом последовала такая сладкая награда!

Он мечтательно улыбнулся.

— Награда? Как это — награда за наказание?

— Сейчас узнаешь, не спеши. Сначала меня наказали. Поставили голыми коленями на чечевицу — маленькое удовольствие, скажу тебе. При этом я должен был прочесть 50 молитв.

— Ну и ну! И каких же?

— Отче. Знаешь ведь, она не маленькая, эта молитва. А тут — 50 раз! — он засмеялся.— О-о-о! Я никогда в жизни так быстро и страстно не молился!

Джулиана тоже засмеялась.

— А потом... потом пришла матушка. Вытерла мои слезы. И сделала такую вещь, что всякий раз, как я вспоминаю об этом, сердце мое согревается любовью.

Джулиана слушала молча, затаив дыханье. Ей заранее было почему-то грустно.

— Мать моя встала предо мной на колени,— медленно заговорил Романо,— и поцеловала просеченную, саднящую кожу на моих бедных ногах... При этом она сказала: «Целую послушные колени моего непослушного сына».

Романо замолчал. Молчала и Джулиана. Она думала о себе. О своей матери, о том, что никто на свете, никогда не говорил ей таких пронзительных слов.

Романо заметил грусть ее и встревожился. Опережая его вопрос, Джулиана тихо прошептала:

— Никто не любит меня. Мать... я это знала всегда. Но отец... я думала, что хоть он любит меня. Но...

— Джулиана, солнце мое! Да разве это возможно — тебя не любить!

— Возможно,— тихо ответила девушка.

— Я! Я буду любить тебя всегда! Как отец, как мать — за всех на свете буду любить тебя!

* * *

— Нет! Насытиться тобою невозможно,— простонал Романо и откинулся на спину.

Джулиана не отозвалась. Повернувшись, он взглянул на нее. И увидел странное, очень странное лицо.

— Ты о чем-то думаешь? — с тревогой спросил Романо.

— Да,— немного помолчав, ответила она.

— О чем же? — спросил Романо,— разве что-то случилось? Что-то не так?

— Так, так,— она легла к нему на грудь, опершись на нее локтями, и долгим взглядом посмотрела на него.

— Знаешь,— наконец заговорила она,— у меня очень странное чувство. Все это время я думала, что умру, если мы не будем вместе, а теперь...

— Что теперь? — окончательно встревожился Романо.

— А теперь мне так хорошо, что даже хочется умереть с тобой. Вместе, сейчас!

Романо рассмеялся.

— Зачем же умирать? Если так хорошо? — весело спросил он и поцеловал ее вздернутый носик.

— Нет, ты не смейся,— задумчиво проговорила она,— это совсем не смешно. Мне просто кажется, что никогда, слышишь, никогда! — и она заплакала. Романо растерялся.

— Что ты, детка? Что? — заговорил он торопливо, совершенно не понимая той удивительной глубины чувств, которые охватили Джулиану и вызвали из ее глаз терпкие, чуть горькие, но все же бесконечно сладкие слезы. Романо был мужчина, и этим сказано все.

— Никогда,— сквозь слезы заговорила Джулиана,— больше так не будет, никогда! Я чего-то боюсь! Уж лучше...

Он не дал ей договорить. Крепко прижав ее к груди, стал качать как маленькую девочку.

— Тише, тише,— шептал он ей на ушко,— ты брось эти страхи.

Джулиана доверчиво прижалась к нему.

— Ты не терзай себя всякими ужасами,— продолжил он,— нам с тобой — и умереть? Когда все только начинается? Детка, тебе еще придется много потерпеть! Потому что я не остановлюсь на тройке-четверке ребят. Будешь рожать и рожать!

Джулиана засмеялась сквозь слезы.

— Ты думаешь, все это будет?

— А как же! — с неполебимою уверенностью вскричал он,— мы с тобой убежим далеко, подальше от этого злого города. Туда, где нас никто не знает, и заживем!

— Ах, как ты прекрасен, Романо! — она вздохнула, перебирая его смоляные кудри,— и все же меня что-то томит.

— Томит?

— Да,— снова вздохнула она,— я думаю, это из-за нашего греха.

— Опять ты о грехе! Я не чувствую никакого греха. Одну радость, сладость какую-то и... и... как будто у меня расширилась грудь!

— Это так, Романо. Но грех тем и страшен, что человек не умеет распознать его.

— Как это? Почему? Откуда ты-то знаешь?

— Я ничего не знаю, но об этом мне говорил отец.

— И что же он такого страшного наговорил тебе, что даже этот сладкий миг не вызывает у тебя радости?

В словах Романо слышался явный упрек. Джулиана посмотрела на него с почти материнской лаской:

— Не обижайся, милый,— сказала она столь нежно, что у Романо растаяло сердце.

— Я просто так полна. А тут еще эта... томящая такая горчинка... Отец говорил, что грех всегда прячется в сладость и обнаруживает себя лишь тогда, когда эта первая сладость проходит. И тогда он наполняет человека такой горечью! Он открывает свое истинное лицо и уже никакая сладость не может пересилить его горечь.

— Детка! — воскликнул Романо,— а может, ты просто увлеклась мною? Может, ты и не любишь меня по-настоящему?

— Романо, это я раньше тебя не любила,— прошептала Джулиана,— я теперь только и поняла, что это — любить. Знаешь, какое у меня появилось чувство? Будто я — твоя, вся твоя, вещь твоя и ты можешь сделать со мной все, что хочешь!

— Так уж и все? — лукаво прищурился Романо.

— Все-все! Только...— и она замолчала, глядя на него испуганно.

— Что только?

— Только ты не можешь бросить меня! Потому что я тогда уж точно умру.

Он схватил ее в охапку, осыпая поцелуями и приговаривая:

— Что? Бросить такой лакомый кусочек? Да что я, осел, что ли, какой? Не дождетесь, принцессита, не дождетесь!

ПРЕДЧУВСТВИЯ СБЫВАЮТСЯ

В соседних покоях раздался осторожный шумок, и в спальню тихо постучались. Джулиана вскочила и подошла к двери.

— Синьорина,— послышался голос Домники,— пора синьору уходить. Уже рассветает.

Джулиана подошла к окну и отдернула тяжелую штору. Было почти темно, но в сереющем саду уже стали проступать смутные силуэты деревьев.

— Романо, пора! — шепнула Джулиана,— через полчаса рассветет.

— Какое — полчаса! Еще темно!

— Нет, милый, уже светлеет. Да и птицы уже начинают чирикать. Иди, мой любимый, иди! Не заставляй меня дрожать за твою жизнь.

Романо нехотя поднялся.

— Как же тяжко расставаться с тобой. Ну ничего, ничего! Еще несколько дней — и уж никто не сможет нас разлучить.

Он обнял девушку и стал целовать ее — в губы, щеки, в прозрачный висок.

— Романо, Романо! — зашептала она, высвобождаясь,— беги, не мучь меня. Я боюсь!

— Глупышка! Не бойся ничего. Как только все у меня будет готово, я дам знать. А там...

И он снова хотел ее обнять, но Джулиана решительным движением подтолкнула его к окну. Он перекинул ноги и, сидя на широком подоконнике, последний раз поцеловал Джулиану. Ловко, бесшумно спрыгнув в траву, послал ей воздушный поцелуй и тут же скрылся в серой мгле. Джулиана с бьющимся сердцем вслушивалась в темноту, но, слава Богу, ни один звук не нарушил ее.

* * *

— Вы заметили, что ваша любимая дочь стала очень странно себя вести? — спросила Дона Власка, входя в кабинет мужа. Ее визиты были столь редким явлением, что Оттавио не смог скрыть своего удивления.

— Что вы имеете в виду? — недоуменно спросил он.

— А то, что она постоянно то бледнеет, то краснеет. От каждого стука вздрагивает. Хоть я и вижу-то ее в основном лишь за обедом, но от меня все это не укрылось. А вы, как я вижу, безмятежны?

— Но что случилось такого уж выдающегося? Обычные перемены, в этом возрасте все девушки бывают несколько странными.

— Да? — с непередаваемой иронией воскликнула Дона Власка,— все девушки? А я думаю иначе. Она чего-то ждет.

Оттавио облегченно вздохнул:

— Ну конечно, конечно, ждет! Вы совершенно правы. Я не говорил вам, у нас с Джулианой был разговор. Я ей сообщил, что на днях приезжает Нарсис — и мы объявим помолвку.

Дона Власка пожевала губами, опустила глаза.

— Нет! — сказала она затем очень твердо.— Не в этом дело.

— А в чем же еще? — удивился Оттавио. Он держался очень естественно — боязнь выдать дочь мобилизовала все его силы.

— Я прошу вас усилить ночную охрану.

— Это еще зачем? У нас, что — война? Враг подступает? Или, может, чернь взбунтовалась?

— Ваши сарказмы совсем неуместны. Прошу просто выполнить мое требование.

Оттавио мог просто согласиться, и он знал, конечно, что все равно сделает то, о чем она его просит. Но его оскорбил ее тон и нежелание объяснять свои требования.

— Нет,— еще более сухо сказал он,— я все же прошу пояснить — какая необходимость в подобных действиях.

Дона Власка опять помолчала. Затем глаза ее оживились, в них мелькнула какая-то мысль.

— Хорошо,— сказала она,— только я объясню все за обедом, в присутствии нашей дочери.— И, развернувшись, как корабль на рейде, величаво выплыла из кабинета.

За столом, как всегда, царило чинное молчание. Дона Власка повернулась к Джулиане и скрипучим голосом спросила:

— Отчего это наша дочь последнее время такая... странная?

Лауретта со жгучим любопытством глянула на старшую сестру.

Джулиана от неожиданности поперхнулась глотком вина, и это ее спасло: голос у нее от волнения осип.

— Простите меня,— пробормотала она и больше ничего не ответила. Дона Власка смотрела на нее долгим пронзительным взглядом. Потом, как ни в чем не бывало, повернулась к супругу:

— Вы знаете, сегодня в саду выловили вора. Мальчишка. Негодяй признался, что лазил за нашими грушами.

Груша в саду Капучильи была предметом зависти многих горожан. Саженцы привезли из Бергамо, но прижился только один. Но он и один, став большим, раскидистым деревом, давал так много чудесных плодов, что хозяева могли щедро одаривать своих гостей.

Джулиана замерла, сильно побледнев.

— Что с вами, милая? — спросила Дона Власка,— вы-то чем расстроены?

Джулиана огромным усилием взяла себя в руки

— Я... я просто представила, что могли сделать с бедным мальчиком ваши люди.

— Ах, ах! Вам жалко негодяя? — притворно удивилась Дона Власка.— Ну конечно, он получил достаточно плетей, но так и не сознался, для чего именно забрался в наш сад.

Джулиана ничего не ответила, только привычно вздернула головку и окончательно замкнула свое лицо.

— Да, кстати,— как будто вспомнив что-то, Дона Власка повернулась к мужу:

— Прикажите-ка как следует усилить охрану сада. А то как бы у нас еще чего не похитили.

И она в упор взглянула на Джулиану. Та сидела ровная, каменная.

— Я недавно посетила Бастинду,— снова обратилась Дона Власка к мужу,— по картам вышло, что ждать нам интересных событий.

Она сделала паузу. Глаза всех устремились на нее в ожидании. Джулиана собрала все душевные силы.

— Да, так вот,— медленно заговорила Дона Власка,— надо ждать вора!

— Так вор же уже был? — спросил дон Оттавио.

— Ну уж, не на этого же сорванца указывали карты. Не-ет1 Кто-то поважней собирается тайно посетить нас!

Оттавио невольно взглянул на дочь. Бдительная мамаша перехватила этот взгляд и обратилась к дочери:

— А вы что думаете по этому поводу, милая?

Джулиана молчала, но страшная бледность выдавала ее волнение. Оттавио поспешил на выручку бедной дочери:

— Неужели вы так верите картам? — с глубокой иронией спросил он.

— Верю! — сухо отрезала Дона Власка,— и не сомневаюсь: все, что сказали карты, может приключиться на самом деле. А вы, супруг мой, выполните мою просьбу немедленно.

Она повернулась к дочери и с приторной лаской пропела:

— Вы явно нездоровы, дитя мое. Поэтому несколько дней до приезда жениха прошу вас: никуда, кроме церкви! Вы поняли?..

Джулиана сидела по-прежнему прямая и не смотрела на мать.

— Ну ничего, вы еще поймете,— удовлетворенно проговорила Дона Власка и встала из-за стола. Она всегда, в нарушение этикета, вставала первая, подчеркивая этим, кто в доме самый главный.

СТАРУХА

— Что с вами, синьорина? — испуганно вскрикнула Домника, когда Джулиана вошла в покои.

Джулиана не отвечала. Она начала носиться по комнате, зажав виски ладонями, и это безостановочное кружение стало постепенно вызывать у старой кормилицы ощущение чего-то неотвратимого, внезапно надвинувшегося и уже стоящего у порога. От страха она заревела. Джулиана внезапно остановилась и посмотрела на нее:

— Да! — сказала она совершенно чужим голосом,— вот и ты плачешь! Что ты плачешь? Что ревешь? Или ты тоже что-нибудь знаешь? Говори! — и она уставилась на старуху, схватив ее за плечи. Домника еще больше испугалась и заревела в голос. Джулиана махнула рукой и снова принялась кружиться по комнате. Потом, остановившись, сказала:

— Если они его убьют, если поймают...я жить не буду.... Ишь, какие ловкие! — И она строго посмотрела на стену.

— Да кто ловкий-то? — проплакала Домника.

— Мать моя. Отец. Все!

— Да что же они сотворили, господа?

— А разве ты не знаешь? — удивилась Джулиана, недоверчиво глядя на нее. Домника приблизилась, желая обнять ее.

Но Джулиана предостерегающе вытянула руку. Старуха остановилась и, молитвенно скрестив руки на груди, плачущим голосом заговорила:

— Голубонька моя, синьорина, клянусь Мадонной, не знаю я ничего! Неужто вы не верите своей старой няньке? Да я за вас...— и, не договорив, она снова горько заплакала. Джулиана как будто очнулась, кинулась к ней и, схватив за руки, быстро заговорила:

— Ах, ты и знать не можешь, в самом деле! А они такую хитрость придумали! Они как будто все знают!

— Да что же они знать-то могут?

— А то, что мы с Романо уговорились бежать!

Домника, перестав плакать, оторопело уставилась на девушку.

— Бежать? Куда ж это? И как возможно? Ведь вас поймают! Деточка моя! — жалостным голосом воскликнула кормилица.— Ведь вы одна у меня, ведь никого я не люблю, как вас! И вы бросить меня хотите?

— Успокойся, старая, ничего все равно не вышло. И если с ним что-нибудь случится!..

— Да что, что с ним-то будет?!

— А-а, ведь ты не знаешь, правда! В саду поставили усиленную охрану, а Романо... Романо... он ничего не знает. И завтра ночью!..— она упала на грудь Домники и горько заплакала.

— Та-ак! — сказала Домника раздумчиво,— та-ак! Да тут не плакать надо, а дело делать. И срочное!

Джулиана, отстранившись, уставилась на нее со страхом:

— Какое дело? — спросила она.

— Единственное дело, которое поможет. Не сомневайтесь, госпожа моя.

И она торопливо пошла в свою комнатушку. Джулиана последовала за ней. Старуха открыла старый сундук и, покопавшись, с самого дна достала небольшой узелок. Развернув его, она достала вещицу, и Джулиана увидела, как, распрямляясь, пролилась из старческих рук нитка дешевеньких, но веселых самоцветов.

— Господин подарил их мне, когда вам исполнилось три годика,— довольным голосом проговорила Домника,— а я что? Полюбовалась-полюбовалась — да и отложила. Уж я стара для таких игрушек. Думала: когда-то еще пригодятся. Вот и пригодились! Десяток лет ждали!

Старуха еще полюбовалась игрой камушков, затем, спрятав бусы в платок, убрала их в свой необъятный карман.

Джулиана смотрела на нее, ничего не понимая. Поймав ее взгляд, старуха улыбнулась и проворковала:

— Ничего с вашим соколиком не случится. Уж вы поверьте старой няньке!

И она, надев парадную шаль, подошла к девушке и прошептала на ухо:

— Моя родня служит в доме Монтано. Сестрица двоюродная. Пойду-ка навещу. Давненько не видались! — и, подмигнув, она выплыла из покоев.

ПАДРЕ

Сад виллы Капучилли изысканными террасами спускался к самой реке. Там, возле мраморной скамьи, была маленькая дверца, скрытая лиловыми гроздями пышно цветущей глицинии. Именно в эту калитку выскользнули однажды в полдень две женские фигуры. В одной, приглядевшись, можно было, несомненно, узнать Домнику, с ее развалистыми боками, с подагрической, затрудненной походкой. Лицо другой, высокой и стройной, было скрыто под фатой. Это была Джулиана.

Женщины быстро миновали опасный участок дороги, где их могли окликнуть слуги, и, стараясь держаться маленьких, пустынных в этот час улиц, направились к собору. Он был заперт. Рядом, в небольшой часовне, горело несколько свечей. У ног мраморной Мадонны склонилась коленопреклоненная фигура.

— Падре! — чуть слышно окликнула Джулиана, но человек все равно вздрогнул и резко обернулся. Он, видимо, так глубоко ушел в молитву, что взгляд его не сразу утратил отрешенность.

— Кто там? — спросил он, поднимаясь с колен и всматриваясь в юное лицо, скрытое тенью полуоткинутой вуали и чем-то смутно ему знакомое.

— Это я, Джулиана...Капучилли. Два года назад вы меня конфирмировали. А не так давно я причащалась.

Падре всмотрелся в лицо девицы и вспомнил сразу не только ее, но и ту забавную сценку, которая разыгралась во время конфирмации.

Девочка была полна неподдельного любопытства и все время крутила головой, забывая о важности церемонии и хорошем тоне. Ее мать, супруга одного из знатнейших синьоров, в бесконечном раздражении щипала дочь за плечо, но это не помогало. Священник заступился за девочку, сказав, что, в конце концов, не самая смирная овечка в стаде бывает самой плодоносящей. Девчушка послала ему очаровательную улыбку и сделала такие кокетливые глазки, что падре с трудом сохранил серьезность.

Теперь перед ним стояла юная, полная некой внутренней решимости девушка с необыкновенным, резким и притягивающим лицом. «Как быстро они подрастают, эти девочки»,— подумал падре с каким-то смутным недовольством.

— Что случилось, дочь моя? — спросил он спокойно.— Почему ты одна? И в такой час?

— Я не одна,— ответила Джулиана,— на улице меня ждут. Но дело не в этом! — на мгновение она как будто заколебалась, но затем заговорила решительно:

— Падре! Я согрешила! Я согрешила тяжко — и мне нужна ваша помощь.

— Ты хочешь исповедаться? Тогда...

— Нет! — перебила его Джулиана, глядя смело и настойчиво ему в глаза.— Я пришла не за исповедью. Я пришла за советом и помощью.

«Странная девица,— подумал падре,— какая дерзкая»,— и вздохнул.

— В чем же грех твой, дитя? — спросил он, немного помолчав. Джулиана не сразу ответила. Она смотрела на священника, внезапно задумавшись, затем тряхнула головой и четко проговорила:

— Я полюбила мужчину и отдалась ему.

Падре вздрогнул. Редко в подобном грехе исповедовались девицы из благородных семейств. Пожалуй, он и не припомнит, когда это было в последний раз.

— Но, дочь моя, как же ты дерзко говоришь о столь тяжком грехе! — воскликнул

он.— И что будет с твоей душой, если ты так начинаешь свою жизнь? — он пронзительно взглянул на нее, но она выдержала этот взгляд.

— Я сделала это сознательно, падре.

— Сознательно?!

— Да. У меня не было другого выхода. Тот, кого я полюбила... ему бы никогда не отдали меня. Никогда!

— Что, он недостаточно родовит? — спросил падре.

— Нет,— ответила Джулиана и замолчала. Если сейчас назвать имя, она окажется полностью в руках этого священника. А она ведь не знает его и даже представить не может, как он обойдется с ней. И она пожалела о том, что отказалась от исповеди.

— Дочь моя,— мягко заговорил падре,— ты должна рассказать мне все, если ждешь от меня совета. Не бойся, я не предам тебя. Это было бы грешно. А я боюсь оскорбить моего Бога.

— Он... между нами вендетта! — быстро проговорила Джулиана, и падре сразу понял, о каком семействе идет речь.

— Романо? Или Франческо? Кто из них? — назвал он имена двух холостых кавалеров этого семейства.

— Это Романо,— Джулиана перевела дыхание и заговорила быстро, без пауз:

— Теперь вам понятно, насколько наш брак невозможен. Вначале мы решили бежать. Но... Связи моей матери столь велики, что нас разыскали бы повсюду. Тогда мы договорились сделать... это. Чтобы им уже не было отступления. Мы решили все рассказать им потом. Потом, когда я уже буду...

Она замолчала. Падре понял, о чем идет речь.

— Ну? — спросил он,— и что же теперь?

— Теперь... Я, поразмыслив, отказалась от этого плана.

— Почему?

— Вы не знаете мою мать. Если бы я даже и уговорила отца смириться — он любит меня, то мать... Она — как скала! И потом, она так кичится древностью своего рода! Она не потерпела бы такого оскорбления! Не допустила бы... Романо все равно убили бы! Ребенка бы отдали в какой-нибудь приют. А меня... в монастырь!

Падре смотрел на ее сразу же осунувшееся лицо и думал, как ему поступить. Помочь ей, значило, поссориться с ее семейством. Ему этого не хотелось. Открыть все ее отцу...

— Хорошо, дитя,— произнес он задумчиво,— я подумаю, как убедить твоих родителей.

— Нет! — закричала Джулиана в страшной тревоге,— нет, падре! Не делайте этого, молю вас!

Она схватила его руку своей маленькой ручкой и, не помня себя, прижала ее к своей груди.

— Падре,— зашептала она решительно, глядя близко в его глаза,— имейте в виду, падре, что если они убьют его, я совершу самый страшный грех,— глаза ее потемнели. Она сунула руку в складки платья и извлекла маленький острый стилет.

— Вот! Это я всегда теперь ношу с собой! — проговорила она, не отрывая взгляда от священника.

«Безумная!» — мелькнуло в уме у падре. Быстро протянув руку, он попытался схватить стилет. Джулиана отстранилась еще быстрей и засмеялась:

— Неужели вы думаете, падре, что я не найду другого способа сделать это?

Падре внезапно успокоился.

— Ладно,— сказал он,—давай подумаем, что тут можно сделать.

Джулиана молчала, с тревогой глядя на него.

— Твой Романо... Он действительно предан тебе? Ты уверена в нем?

— Как в себе!

— И он на все пойдет?

— Ну что ж,— сказал падре и задумался.

— Что ж,— повторил он через несколько долгих минут. В часовне была такая тишина, что казалось, над миром стоит глубокая ночь. Глубокая, вечная ночь над пустым безжизненным миром.

— Что ж,— повторил он в третий раз,— если вашу мать не смягчит скорбь дочери, то, может, ее смягчит горе утраты...

— Утраты,— не поняла Джулиана,— какой утраты?

— Может, потеряв дочь, она пожалеет о своей непреклонности, и тогда...

— Падре! Что вы задумали? — вскричала Джулиана в страшной тревоге.

— Видишь ли,— медленно заговорил он,— я не всегда был священником. До принятия сана я многим в жизни занимался... Составлял лекарства... яды...

Джулиана смотрела на него в полном замешательстве. Она ничего не понимала. Но ведь не мог же священник желать ее смерти. Тогда что? Падре взглянул на нее с мягкой улыбкой.

— Успокойся,— сказал он,— это не то, о чем ты думаешь.

— Не то? — эхом отозвалась девушка.

— Не то,— подтвердил падре,— но то, что я хочу предложить тебе... это опасно.

— Опасно,— снова повторила за ним Джулиана и взглянула на него, будто пробуждаясь.

— Говорите! — сказала она твердо.— Говорите. Я не испугаюсь.

— Ты должна умереть. Но на время,— быстро добавил он. Джулиана изумленно смотрела на него и молчала. Она ничего не понимала.— Я тебе дам капли. Ты примешь их и умрешь. На самом деле это будет не смерть, но даже самый опытный врач не сумеет распознать в тебе признаки жизни. Даже тело похолодеет.

Джулиана побледнела. Она не отрывала глаз от священника, и было видно, как под тяжелыми складками платья вздымалась от волнения ее маленькая грудь. В этот момент странное чувство кольнуло падре: кого-то смутно она напомнила, кого-то давно забытого. И даже намек на это воспоминание был ему тяжек. Падре отогнал навязчивое ощущение и заговорил быстрее, глаза его засверкали. Он взволновался каким-то давним чувством юности и авантюры. И мысленным взором он видел уже грядущую картину: внезапное горе семейства Джулианы, глубокую скорбь траура и вспыхнувшую молнией невообразимую радость нового обретения дочери! Радость, в которой сгорят дотла остатки прежней вражды, разъедающей жизни обоих семейств уже более полувека. Мир, мир! Ослепительное счастье! И все это совершит он, падре Лукрецио, он, простой священник.

— Ты очнешься через три дня в склепе. Романо будет знать, ты посвятишь его в наш план. И он тоже примет эликсир. А когда вы оживете, ваши родители согласятся на все. На все! Перед лицом всего города и Бога,— он торжественно перекрестился и поднял глаза вверх,— они не отважатся на новую жестокость!

Джулиана поняла. Глаза ее заблистали, она схватила руку священника и поцеловала ее.

— Приходи завтра, дочь моя. Вечером. И мы все совершим. Во имя мира я иду на это и, надеюсь, Господь мой не осудит меня.

— Падре, мне опасно идти самой. Я пришлю мальчика.

— Тогда, вот,— сказал падре,— пусть он приходит в мой дом. Я ведь не буду готовить снадобье здесь. Хорошо, что я об этом подумал, так будет намного лучше.

«ВРЕМЕННАЯ СМЕРТЬ»

Отец Лукрецио остался один. Чувства настолько переполняли его, что он невольно упал на колени. Иисусе Христе! Ему, скромному священнику, Бог приготовил такую миссию! Служение делу мира! Он, он — вернее, через него — свершится, наконец, примирение почти столетней вражды!

Чистый восторг переполнял его, и он мысленным взором уже видел грядущие картины примирения: слезы радости, рукопожатия вчерашних врагов, ликование простого народа. Несомненно, весь город страдал от этой тяжкой внутренней войны. И вот, он, падре Лукрецио, силой Божией пресечет ее навсегда! Он горячо зашептал молитвы, благодаря Творца за дарованную ему, скромному, малоизвестному священнику, возможность свершить столь великое деяние. Мысли его незаметно приняли новое направление. Да, не зря он столько лет пребывал в своем служении, столько лет без продвижения. Многие его сверстники продвинулись вверх по иерархической лестнице. Кто-то служит в Риме, кто-то стал каноником, а Амбросио Греджио, Амбросио, которого все дразнили плюшкой тетушки Фаншетты и дергали за вихры — при папском дворе!

Глаза Лукрецио сверкнули. Что ж! Вот и его время приблизилось. Если он сумеет сделать все как должно, о его деянии услышат. Узнает кардинал. А может... может, дойдет и до Ватикана!

Восторг переполнял его грудь, и он зарыдал. Бедный падре. Он настолько потерял свое обычное внутреннее бесстрастие, что даже не понял, не заметил, что не святое чувство, а настоящая страсть овладела им — и яростно, жадно распоряжается его сердцем и умом.

Он встал и еще раз помолился о даровании ему спокойствия и внимания, необходимых в таком сложном деле. Ведь в руках его сейчас две юных жизни! Малейшая неточность в последовательности, в дозировке и!.. Ему страшно было и подумать о дальнейших последствиях, тем более что он давно все забыл — ведь около двадцати лет этим не занимался. «Ничего, ничего,— успокоил он себя,— раз Бог дал мне это свершить, он даст мне и силу, и внимание».

Падре, сделав последний поклон, вышел и направился в свою скромную келью.

Старая Сантуцца — экономка, повариха и прачка в одном лице, занималась своим любимым делом — надраивала медную посуду до орденского блеска.

— Ты можешь идти,— сказал падре. Она испуганно взглянула на него:

— Так рано? — и глаза ее округлились.

— Да. У меня сегодня важное занятие. Ты будешь меня отвлекать.

— Да я совсем тихохонько! — зачастила старуха.— Один маленький котелочек! Всего-то! — и она с надеждой глянула на него.

— Нет,— сухо сказал падре и пошел к двери — надо было обязательно запереть ее, чтобы кто-нибудь случайно не застал его за столь странным занятием. Стоя на пороге дома, он невольно оглядел улицу. Никого. Только вдалеке, у самого поворота, шли две женщины— стройная, изящная синьорина и, на шаг позади, дуэнья — тощая, как палка, и прямая, но при этом очень важная. Синьорина чем-то напомнила утреннюю посетительницу, и опять что-то смутное царапнуло его память...

Войдя в дом, он постоял несколько минут, припоминая, где у него может быть заветная тетрадь. «Да-да, она там!» — пробормотал падре и пошел в чуланчик, где в самом темном углу, за бочонками с вином и маслом, притаился старенький сундучок. Лукрецио достал его, бережно обтер пыль и поставил на табурете. Руки его слегка дрожали. Боже мой! Сколько лет он не прикасался к этому сундучку! И для чего он все эти годы хранил его! Сегодня стало ясно — это Божие Провидение!

Шепча молитву, он открыл крышку и замер. Все лежало в полном порядке: реторты и колбочки, бронзовая ступка, маленькие весы с крошечными гирьками. Отдельно, в аккуратно завязанных мешочках лежали препараты, в том числе и камни, которые он когда-то ненавидел всей душой — ведь их надо было дробить, мельчить и растирать. Да в придачу дышать этой каменной пылью или разогретой серой или какой-нибудь не менее противной гадостью. Хозяин только составлял рецепты, а остальное делали они, подмастерья.

Сейчас содержимое сундучка казалось ему сокровищем. Ведь оно послужит великому делу в жизни города, в судьбе двух семейств. « И, надеюсь, в моей судьбе»,— прошептал он и бережно взял в руки тетрадь. Вдохнул запах старой кожи, погладил трещинки на переплете, перекрестился и открыл ее. Как ни странно, он быстро нашел искомое. Вот он, знаменитый рецепт. Скольких людей он за два с лишним столетия спас! Человек умирал, и его преследователи забывали о нем. А он, «восстав из мертвых», благополучно скрывался, уезжал в другой город или страну. Да мало ли в каких ситуациях могла помочь эта временная смерть! Кстати, так снадобье и называлось — «Временная смерть», но из осторожности хозяин записал название на каком-то древнем языке. Из всех подмастерьев только он, Лукрецио, знал, что таится за этими непонятными буквами. Покойный Паоло ему доверял, как сыну, больше, чем сыну, потому что сын был вертопрах и гулена.

Падре открыл мешочки со снадобьями и проверил по тетради: вдруг там нет какого-нибудь необходимого компонента. Хвала Иисусу, все, что нужно было, присутствовало. И, что приятно, ничего не надо было долбить и мельчить. Надо было только аккуратно все развесить, смешать и осторожно подогревать. Но он всегда был аккуратным и внимательным. И все же, для предосторожности, он помолился.

С волнением он начал работу. Это оказалось довольно сложным — руки его за долгие годы отвыкли от мелких операций и точных движений. А когда-то он это делал со сноровкой, не задумываясь. Сложным было все: развесить компоненты на маленьких весах (постоянно получался недовес или перевес), установить на крохотной треноге столь же крохотную серебряную чашечку (тренога слегка погнулась и чашечка никак не хотела стоять строго по центру). Наконец все получилось. Он разжег огонь и стал помешивать короткой спицей с утолщением на одном конце. Шепча молитвы, он следил за тем, как одна за другой тонули плавающие частицы, как жидкость постепенно меняла цвет, приобретая красно-коричневый оттенок. Лукрецио взглянул на песочные часы. Время приготовления подходило к концу, а тонкая пепельная пленка не исчезала с поверхности. Он заволновался — эликсир не получается. Что-то было не так. Но что? Он не помнит. Он стал напряженно вспоминать, вспомнил себя, свои вечно темные на кончиках пальцы, вспомнил старого Паоло, который много раз напоминал им: «Кто не умеет быть внимательным, тому здесь делать нечего!» Лука был внимательным, осторожным, пунктуальным. «Лука»! Он удивился — давно уж он забыл свое детское имя. Но с этим именем вдруг ожила память, и он как будто услышал внутри себя голос хозяина: «Лука, бамбино! Главное — это вовремя прикрутить фитиль! Не то состав перегреется и ничего не получится!» Лукрецио радостно вздохнул всей грудью! Вот оно! Как же он забыл такой важный момент! Он принялся за все сначала, но никак не мог создать нужного температурного режима. И лишь с третьего раза он понял, что получается! Жидкость становилась прозрачной, не меняя цвета. Он запел. Наконец он погасил огонек под чашечкой, осторожно перелил в стеклянную посуду и посмотрел на свет. Радость вскипела в его груди. Вот оно! Теперь найти подходящий флакон, подождать, пока эликсир остынет, и перелить его — осторожно, дорожа каждой капелькой! Он запел громче и вдруг остановился. Глаза его округлились, брови сошлись у переносицы, и выражение неподдельного изумления отразилось на его благообразном лице. Что он

поет?! Он, почитаемый прихожанами падре Лукрецио, напевает уличную песенку про какую-то Луситу! Падре схватился за голову. Боже мой! Он вспомнил эту песенку, он вспомнил, как ее орали мальчишки ему вслед, когда он проходил по улице с Лоиской, своей подружкой. «Лусита, не верь, береги свой цветник, чтоб опытный вор в него не проник»,— мальчишки, мелюзга, приплясывали, распевая, делали непристойные жесты, пока Лоиска в ярости не оборачивалась к ним. Тут они с хохотом разбегались в разные стороны — связываться с Лоиской было опасно, она становилась бешеной...

Падре стоял, как громом пораженный, руки его дрожали, сердце больно колотилось. Вот! Вот кого она напоминала ему, эта Джулиана! Конечно! Те же медные кудри, те же зеленоватые, как у кошки, глаза! Даже ресницы, ресницы! Редкие, но длинные, окружающие глаза как стрелы. Он застонал, покачиваясь и обхватив виски длинными тонкими пальцами. Прошлое, казалось навсегда забытое, хлынуло на него, как прорвавшая плотину река.

ЛОИСКА

Лоиска была разбитная, веселая девчонка лет двенадцати. Дочка прачки. Но, видать, ее папаша очень хотел первенца, мальчика — и все его желание как-то отпечаталось в младенце, который, не успев появиться на свет, сумел раздосадовать своего родителя (кстати сказать, желанного мальчика он получил лишь после четвертой девчонки). Так или иначе, у Лоиски были все повадки мальчугана: она умела все, что умели мальчишки, ее ровесники — свистеть, лазать по деревьям, метко кидать биту. Но она еще, вдобавок, была очень сильная и яростная. Лука же, наоборот, был очень робким мальчиком. Он не любил уличных игр, не умел драться и вообще — всех боялся. Однажды Лоиска услышала улюлюканье в соседнем переулке. Это ее заинтересовало, и она отправилась посмотреть, что там происходит. И в это время на нее вылетел растерзанный подросток, запыхавшийся, с выражением отчаяния и страха на маленьком безбровом личике. За ним неслась свора с криками: «Бей труса! Лупи без пощады!». Беглец, оглядываясь на ходу, врезался в Лоиску, свалил ее и свалился сам. Мальчишки, вылетев из переулка, пришли в бешенный восторг: «Ай да молодец! — орали они.— Завалил девку! Не такой уж он и трус! Ну чего раззявился? Давай, давай!». Этого уже Лоиска не выдержала. Обескураженная вначале быстротой происходящего, она тут же пришла в себя, озлившись на гнусные намеки «мошкары». Она как пружина, выпрямилась, вскочила на ноги и с маху врезала двум ближайшим обидчикам. «Мошкара» еще больше развеселилась. «У-у-у, великанша! Башка до неба!» — орали мальчишки, разбегаясь в разные стороны. Она погрозила им кулаком и повернулась к Луке. Вид у него был жалкий. Лоиска несколько минут разглядывала его в упор, потом спросила:

— Ты кто?

— Я? Я... Лука,— дрожащим голосом ответил мальчик. Лоиска тряхнула головой, при этом одна темно-рыжая прядка упала на ее тощее плечо.

— Я не о том спрашиваю! Ты кто? Откуда взялся?

Лука глянул на нее и тут же опустил глаза.

— Я у синьора Пабло...кондитера. Там, за ратушей. Маленький желтый дом...

— А, знаю! — перебила его Лоиска.— Знаю! И что?

— Что — «что»? — не понял Лука.

— Что ты тут делаешь? И чего они, мошкара эта, к тебе привязались?

— А-а,— протянул Лука,— меня хозяин послал сюда к заказчику. А эти... не знаю, пристали и вот...— он окончательно замолчал.

— Да-а-а, ты не боец, это точно,— с усмешкой сказала девочка, разглядывая его. Потом тряхнула кудрями и добавила:

— Ну, ничего, больше они тебя не тронут! Это я тебе обещаю! — и она засмеялась во весь свой большущий рот.

Так началась эта странная дружба. Лука был очень занят работой, у него не было времени на гулянье. Да и Лоиска тоже не бездельничала — помогала своей матери полоскать, гладить и разносить белье по заказчикам. И виделись они только по воскресеньям. Лука пел в церковном хоре. Голос у него был поистине ангельский — высокое, нежное, очень чистое сопрано. И в первое же воскресенье Лоиска узнала Луку и, поняв, что это он так сладко поет в церкви, восхитилась.

— Ну Лука! — сказала она ему.— Тебе и не надо быть храбрецом! У тебя такой голос! Да ты поешь куда лучше, чем синьор Качинелли!

С тех пор она дожидалась Луку после службы, и они оправлялись гулять по улицам. «Мошкара» уже давно «сосватала» их и пела им вслед непристойные песенки. А если парочка долго не обращала внимания, в ход шла тяжелая артиллерия. Преследуя Лоиску с Лукой на безопасном расстоянии, мальчишки дружным хором начинали вопить: «Долги ноги, лягушины глазки! Долги ноги, лягушины глазки!» — это все относилось непосредственно к лицу и фигуре Лоиски. На самом деле, она была очень долговязой девчонкой за счет высокой талии и очень длинных ног, что создавало впечатление некоторой несоразмерности. А в глазах ее, круглых, с очень большими блестящими зрачками, и вправду, было что-то лягушиное. Лоиску это не задевало, она считала себя красавицей. Но когда ей надоедал ор, она внезапно резко оборачивалась, растягивала рот двумя пальцами и издавала тигриное рычание. «Мошкара» со смехом улетучивалась, так как знала, что дальше пойдут в ход боевые действия.

Кстати сказать, пение определило многое в судьбе мальчика. Он был сиротой, и заступиться за него было некому. Но вот однажды хозяин услышал, как он что-то напевал за работой. Почтенный Паоло, как все итальянцы, любил музыку, пение и сам, бывало, напевал, попивая с друзьями винцо. Но что это было за пение! И когда он услышал тихий нежный голосок мальчика, он сделал стойку, как собака на охоте, затем приказал: «А ну, Лукито, громче! Ты можешь громче?». Мальчик растерянно замолчал, потом, поощряемый ободряющими кивками хозяина, запел. Сначала тихо, затем все смелее и смелее. «Мамма миа! — воскликнул пораженный хозяин.— Да это ж не голос! Это ж сокровище, дар Божий! Ну пой еще! — приказал он. С тех пор Лука часто пел за работой, услаждая музыкальную душу хозяина. Однажды в лавку зашел что-то заказать важный человек, синьор органист из собора. Войдя, он застыл на пороге, слушая дивное, ангельское пение. С тех пор Лука пел в соборе. Почтенный Паоло полюбил мальчика, как своего сына. А так как на последнего рассчитывать не приходилось — больно он был никчемный парень, бестолковый и ленивый,— хозяин стал постепенно передавать Луке секреты своего ремесла. Главное достоинство лавки было не в леденцах, не в засахаренных фруктах, не в лепешках с миндалем. Люди шли к папаше Паоло, потому что он умел составлять всевозможные мази, сонные зелья, прочие лекарства и яды. Именно эти знания он начал передавать Луке.

«Учись, сынок,— говорил он,— все под Богом живем, не угадаешь, что может случиться. Скажем, вдруг я заболею... Да это я к примеру! — добавил он, заметив тревожный взгляд ученика.— Так только! Ну вот, значит, я заболел, а ты уже можешь и сам кое-что сделать. Составить кое-что. Пока, правда, простые порошки да капли. Но если будешь прилежным да внимательным...»

Луке было двенадцать лет, а Карлите, дочке хозяина, девять. «Вот, годика через три-четыре поженю их и на него дело запишу»,— думал хозяин. Но жизнь повернула все по-своему.

СОБЛАЗН

В пятнадцать лет Лука потерял голос. «Ничего, ничего,— утешал его Пабло,— голос — это не главное. Вот поженитесь через годочек, а там, глядишь, будешь молодой хозяин. А я,— папаша Паоло засмеялся и почесал свой круглый живот,— уйду на покой, внуков нянчить!» Он еще раз засмеялся от такой умилительной перспективы. Но Лука был безутешен. Даже Лоиска, верная подружка, которая, кстати, не подозревала, что ее «жениха» могут оженить без ее участия, и та никак не могла развеять мрачного настроения Луки. И тут в дело опять вмешался соборный органист. Он за эти три года хорошо узнал мальчика, оценил его скромность, смирение, упорство. Он-то и предложил Луке учиться на священника, сказав, что если тот согласен, то за протекцией, деньгами на обучение дело не станет. Есть знатные синьоры, которые охотно снабдят Луку всем, что понадобится, при условии, что, закончив обучение, он вернется служить сюда. В свой город.

Это было так странно, так волшебно, что Лука не сразу мог прийти в себя. Но чем больше он думал и представлял себе служение в церкви, тем яснее ему становилось, что именно это — и ничто иное, может наполнить его жизнь смыслом, гораздо более высоким, чем он полагал в пении. Он согласился. Самое трудное было сказать об этом хозяину, так сжился он с мыслью, что Лука станет его зятем и подельщиком. Взялся за это дело органист. Он долго и подробно описывал пораженному Паоло новую жизнь, ожидающую Луку, почтенность и славу церковного служения и милость Божию, проявленную к бедному сироте. «И, прежде всего, эта милость заключалась в том, что Бог послал на путь несчастного мальчика столь доброго человека, как вы, почтенный Паоло»,— добавил он, чтобы как-то смягчить удар. Но эта уловка была бесполезна. Когда Лука пришел, хозяин встретил его молча, но глаза его были полны такой горечи и укора, что Лука не выдержал. Слезы покатились по его бледным щекам градом, и он упал перед старым Паоло на колени.

— Простите меня, простите! — пролепетал он и, закрыв лицо ладонями, заплакал навзрыд.

Этого хозяин не выдержал — бухнувшись возле Луки, он обхватил его шею руками, прижался лицом к его мокрой щеке и тоже заплакал.

— Ладно, Лука,— выдавил он наконец сквозь слезы,— что ж теперь поделаешь? Видно, Бог тебя призывает... тут уж грех мешать. Но знай, сынок, когда б ты ни приехал, мой дом для тебя останется родным. Не забывай там, не забывай старого папашу Паоло! — и он снова заплакал.

Оставалось только попрощаться с подружкой. Когда Лоиска услышала новость, она вскинула брови, открыла рот и с изумлением уставилась на Луку. Потом спросила:

— Чего, чего ты сказал?

— Буду учиться на священника,— угрюмо повторил Лука.

— Ты? На священника?! — и Лоиска расхохоталась. Лука посмотрел на нее в упор и, резко повернувшись, пошел прочь. Догнав его, она схватила его за руку и резко повернула его к себе. Глаза ее смотрели тревожно.

— Нет, ты вправду, что ли? Ты не шутишь?

Лука пожал плечами и ничего не сказал.

— А как же... я?!

Он опять пожал плечами и опустил голову:

— Священники не женятся,— глухо пробормотал он. Лоиска какое-то время смотрела на него непонимающими глазами — и вдруг лицо ее потемнело от прилившей крови, губы вмиг распухли, и Лука испугался, что она сейчас заплачет или бросится на него. Но гордая девушка, удержав уже готовые пролиться слезы, отверну-

лась и быстро пошла, а потом побежала от него в ближайший переулок. Лука стоял и с тяжелым сердцем смотрел ей вслед. Нелегко, очень нелегко оказалось рвать такие привычные, такие прочные узы. И вдруг он понял, нет,— ощутил всем существом, что вся прежняя жизнь стремительно утекает, как бы сливается в некую огромную воронку. И он стоит теперь один над неведомой бездной. И некому уже больше помочь ему. Теперь за все придется отвечать и расплачиваться самому.

...Лука не приезжал два года. В семинарии ему очень нравилось. Все дышали одним духом, не было никакого раздвоения, напротив, царила соревновательность, не переходившая рамки допустимого. Предметы были крайне интересные, хоть приходилось и трудно, много надо было заучивать наизусть. Но у Луки, как у всех музыкальных людей, была острая хватка на интонацию языка. И к середине второго года он уже шел по латыни первым.

Наконец, после окончания второго года, на летних вакациях он решил посетить свой родной город. Старина Паоло встретил его с большой радостью. Он долго вертел Луку в разные стороны, рассматривая его лицо, фигуру, а потом удовлетворенно изрек:

— Да ты, мальчик, уже настоящий мужчина! Эти годы пошли тебе впрок!

Появилась Карлита и, увидев гостя, смущенно застыла на пороге. Огромный живот натягивал ее платье, как спелый арбуз. Паоло засмеялся и похлопал Луку по плечу:

— Как видишь, мы тут тоже время не теряли! Карлита уже год замужем. А вот и зятек мой!

На пороге появился рослый парень с румяными щеками и бровями, сросшимися в одну прямую черту. Он хмуро взглянул на гостя.

— Э! Э! Что глядишь? — со смешком заговорил хозяин,— это ж наш Лука, наш маленький аббатик!

Парень широко улыбнулся, расставил руки и произнес густым басом:

— А! Слыхали, слыхали! Как же! Витторио! — и, схватив огромной лапищей руку растерянного Луки и, чуть не раздавив ее, начал долго трясти, покрякивая и кивая головой.

— Ладно, ладно,— вступился за гостя старый Паоло,— оставь руку-то его, она ему еще пригодится! Перекусить пора. Да и винца выпить! — и он добродушно подмигнул Луке.

Лука никуда не ходил, только в церковь и изредка — в семейство Паоло. Он не хотел видеть никого, с кем было связано его прошлое. У него было заветное местечко на берегу реки, где он любил, растянувшись на траве, почитывать что-нибудь из полюбившихся ему латинских подлинников. Особенно он любил Вергилия. Место и в самом деле было хорошее: высокий берег и рослые кусты делали его невидимым. Луке порой казалось, что он один во всем мире, наполненном солнцем, тихим плеском воды и монотонным стрекотом кузнечиков.

Однажды его одиночество было грубо нарушено. Лежа на животе и держа перед собой книгу, Лука услышал гул голосов, возгласы, смех. Звуки приближались. Шли женщины. Скоро они приблизились так, что можно было расслышать обрывки фраз. Лука чуть раздвинул ветки и увидел их. В основном это были пожилые женщины, и лишь одна из них, стройная и высокая, явно была молода. Женщины стали раздеваться. «Купаться пришли»,— подумал Лука с испугом и уткнулся в свою латынь. Но никак не мог сосредоточиться. Крики становились веселей, послышался шум от плюхнувшихся в воду грузных тел. Лука не выдержал и снова раздвинул ветки. Две женщины уже были в воде, еще две стояли на берегу совершенно голые, и Лука увидел удивительную вещь: тела их были белы, а руки от локтя до кончиков пальцев были багровы: казалось, что с них снята кожа. Это поразило Луку так, что он не мог

оторвать взгляда. Потом он вдруг сообразил: прачки! Да, это были прачки — от непрерывного пребывания то в горячей, то в холодной воде их руки постепенно приобретали отвратительный вид голого мяса. У молодой еще не было этого резкого контраста, но все же кожа от локтя была розовой, в то время как все тело светилось нежной белизной. Лука заворожено следил за девушкой. Вот она сняла нижние юбки, вернее, выскользнула из них, как узкая белая рыбка, освободила волосы — и пышная пелена темно-рыжих, в красноту, блестящих на солнце волос окутала ее стройное длинное тело. Маленькая грудка выглянула, сверкнув из пушистых кудрявых прядей. Девушка повернула голову, что-то со смехом сказав пожилой своей товарке,— и у Луки чуть не остановилось сердце — он узнал ее! Это была Лоиска — несомненно, она, хоть он не видел четко черт ее лица. Лука в ужасе уткнулся лицом в книгу, зажмурился, словно в ней он тоже мог увидеть Лоиску. Шум и плеск воды вернули его из шокового состояния, и он, весь дрожа, снова глянул вниз. Лоиска уже была в воде. Она плыла сильно, стремительно и с тонких ее рук срывались, блестя на солнце, струйки воды...

Лука решил срочно бежать из города. Страшная картина все время стояла у него перед глазами. Ему нестерпимо хотелось увидеть Лоиску, схватить ее за руки, жадно впиться глазами и рассмотреть, какая она стала. Старый Паоло удивился, когда Лука пришел к нему прощаться: «Что это ты так с лица спал, Лукито? Заболел, что ли?» Но еще больше он удивился, когда услышал, что Лука уже через два дня уезжает. Ведь до назначенного срока оставалось еще две недели. Лука ничего не стал объяснять, да и не мог же он, в самом деле, сказать, что бежит от какой-то девчонки. Он просто сказал: «Так надо». Но уехать ему без новых ран не удалось. Лоиска видела его в соборе и все ждала, что он придет с ней повидаться. Потом она догадалась, что Лука ее избегает. За день до его отъезда она подстерегла его у дома соборного органиста, где Лука остановился по любезному предложению хозяина.

Выходя из дома, Лука буквально наткнулся на девушку. Она стояла в несколько вызывающей позе, уперев руки в бока.

— Ну, и как это называется? — вместо приветствия спросила она. Лука от неожиданности онемел, он смотрел на нее изумленными глазами, потеряв дар речи. Он так хотел ее увидеть, хотел рассмотреть! И вот она перед ним, стоит и сама в упор разглядывает его. Постепенно испуг сменился в душе Луки восхищением. Лоиска сильно изменилась. Куда девалась ее долговязость, угловатость! Она была просто высокой, стройной, с какими-то текучими, нежными линиями тела. И рот уже не казался таким большим, и глаза как-то удлинились. Ничего «лягушачьего» в них не осталось. Были только прежняя дерзость и лукавство. И вдруг Лука вспомнил реку, тонкое белоснежное тело с розовыми руками, струи воды, обтекающие эти тонкие руки... Лука густо побагровел и сделал движение — бежать. Но Лоиска цепко схватила его за руку.

— Это так принято в твоей семинарии, да? Так надо встречать старых друзей?!

Лука снова дернулся, но бесполезно — Лоиска с детства была очень сильной, и нынешняя хрупкость ее тела оказалась обманчивой. Держа руку юноши, словно в железном капкане, она продолжила, уже открыто издеваясь:

— Хорош женишок! Невесту свою уже не хочет узнавать!

Лука взглянул на нее с такой ненавистью, что она сразу осеклась.

— Не женишок я тебе,— заговорил он, медленно наливаясь гневом,— и ты мне не невеста. Ты... ты... Ты враг мне — вот кто ты! — крикнул он ей, словно выплюнул, в лицо и, вырвав руку, быстро пошел прочь.

НЕОБРАТИМОСТЬ

Падре Лукрецио был аскет. Он много молился, нередко — по ночам. Мало спал, мало ел. Был не стяжателен. Жил он в простейшей обстановке и всячески приучал себя к смирению. Его любимым чтением были святые отцы. Читал он их в оригинале. За годы служения его некрасивое, безбровое лицо приобрело некое одухотворенное выражение, скромную умильность. Глаза всегда смотрели со вниманием. Четки не сходили с его рук. Но жила в его душе некая тайна, скрытая от людей. Вернее, их было две. Но являлись они в последовательности. Первая тайна — это Лоиска. Именно с ней было связано появление аскезы. Давно это началось. Когда он, совсем юный, позорно бежал из города (хотя кто знает, может, и не позорно, а, наоборот — героически). Он решил вообще не возвращаться туда никогда. Но все же он был связан обещанием. Пришлось прибегнуть к помощи духовника. Тот знал всю историю и понимал, чем грозит безбрачному священнику подобная ситуация. Поэтому перед рукоположением Лукрецио, его духовник испросил аудиенции у монсиньора Квардуччи и, рассказав ему о положении своего подопечного, попросил на пять лет направить его на служение в дальнюю провинцию. И Лука, теперь уже падре Лукрецио, начал поход против своей предательской памяти.

Образ Лоиски преследовал его и мучил и во сне, и наяву, особенно во время молитвы. Вот тогда-то, по совету своего епископа, большого аскета, он принялся за то, что у подвижников называется «умерщвление плоти». Мало сна, минимум еды, многочасовые ночные молитвы. И частая исповедь. И что же, года через два колдовской образ стал таять, терять над ним власть. Он научился даже во сне, не пробуждаясь, прекращать соблазнительные видения. А еще через три года он решил, что может спокойно возвращаться на родину. И на самом деле, ему удалось убедиться, что годы аскезы не прошли даром.

Как-то, выходя из церкви, он увидел высокую, красивую женщину с пышной грудью, с крутыми боками. Она стояла и пристально смотрела на него, пока он спускался по ступенькам паперти. Она явно ждала его. Падре всмотрелся. Лицо ее явно было знакомым, хоть он и не мог вспомнить, где же он видел ее.

— Не узнаете, падре? — спросила женщина приятным грудным голосом.

— Н-нет, что-то не припоминаю,— не слишком уверенно ответил он. Глаза женщины, серо-зеленые, опушенные острыми, прямыми ресницами, неуловимо изменились, Что-то лукавое и озорное мелькнуло в них. И падре вспомнил!

— Узнали,— удовлетворенно протянула она, заметив, как внезапно расширились его зрачки.

— Узнал,— вполне спокойно и даже приветливо ответил падре. Он был готов к этой встрече, и неожиданность не смутила его.

— Конечно, я изменилась. Еще бы! Мне уже двадцать четыре года. Вполне взрослая! — засмеялась она.— К тому же, у меня уже четверка детей в подоле путается,— она опять засмеялась. Падре улыбнулся.— А вы тоже изменились. Такой... такой симпатичный, благообразный! — последнее слово она протянула, как показалось Лукрецио, со скрытой усмешкой. Явно, она вспомнила того робкого, худенького мальчика, которого когда-то защищала от назойливой «мошкары».

— Конечно, изменился,— спокойно ответил падре,— да и ты...настоящая матрона. Кто теперь вспомнит девчонку-драчунью! — он улыбнулся.

— Джулио! Джулио! — вдруг закричала Лоиска.— Иди сюда! Ну! Муж мой. Такой увалень,— добавила она, поворачиваясь к падре. Из-за колонны вышел мужчина и смущенно, приблизившись, поклонился ему.

— Благословение возьми, идол эдакий! — со смехом сказала Лоиска. Джулио неловко протянул руки для благословения и оглянулся на супругу.

— Вот так-то! — усмехнулась она, затем спросила у падре.— Ну как, ничего у меня муженек? — и сама ответила.— Неплохой, худого не скажу. Вот только одно — тюфяк тюфяком! — припечатала она и рассмеялась. Джулио, видно, давно привык к манерам жены и тоже улыбнулся. Но во взгляде его читался некий вопрос.

— Ах, да! — спохватилась Лоиска.— Я же не познакомила вас. Это мой муж. Как вы уже поняли. А это... Помнишь, Джулио, я тебе много рассказывала про своего дружка, Луку? Так вот, это он и есть! — и, довольная произведенным впечатлением, сложила руки на животе. Джулио опять покраснел и нерешительно глянул сначала на падре, потом на Лоиску.

— Да не бойся ты! Падре уже давно все позабыл. Не так ли, святой отец? — с вкрадчивым лукавством спросила она.

— Так, так,— вполне любезно ответил Лукрецио,— но простите, мне надо торопиться. Рад был повидаться,— и он повернулся, чтобы уйти.

— Постойте, падре, а меня ведь вы не благословили,— и, подойдя под благословение, поднимая голову от его руки, добавила,— а пятого мы придем крестить к вам.

И только тут он заметил, что она беременна.

С тех пор прошло двенадцать лет. Образ бывшей подружки не беспокоил его никогда. Да и ничего в этой грузневшей и стареющей женщине не напоминало ту стремительную и яростную девчонку, которую он знал много лет назад. Эта тайная язва перестала жечь его душу. Но постепенно на смену ей пришла другая, с которой он тоже боролся проверенным некогда способом. Только теперь акцент приходился не на пост, а на исповедь. Со временем его все больше стало уязвлять его скромное положение. Давно уже его былые товарищи по учебе обогнали его. А он все еще, после стольких лет беспорочной службы, простой священник. И ничто как будто не предвещает ему продвижения. Он видел, что превзошел образованностью многих своих коллег, что вполне мог бы принять на себя более высокие обязанности. И все же он старался всячески смирять себя, понимая, что это в нем говорит голос тщеславия, скрытой гордыни. И теперь, когда Христос поручал ему великое дело примирения, этот тайный голос заговорил с удвоенной силой. Падре потерял всякую осторожность, он впал в восторг, хоть всегда знал, что восторженность — самое опасное состояние. С ним произошло то, что в аскетике именуется набегом, когда давно, каза-

лось бы, побежденная страсть вдруг налетает стремительно, как ураган — и, улетая, оставляет за собой развалины...

Бедный падре! Как ужасно было пробуждение прошлого! Куда подевались его смирение, его спокойствие в любых ситуациях? Он бегал по комнате, схватившись за голову. Потом падал на колени, истово молился, плакал. Но обольщение не проходило. Вызванное приходом этой знатной, но уже испорченной девицы, видение приобрело над ним страшную силу. Лоиска, выскальзывающая из юбок, входящая в воду, плывущая, ее темные от воды волосы, длинные пряди которых, как змеи, обвивают нежное тело, ее маленькая снежная грудка... Все это не только стояло перед внутренним взором. С ужасом падре ощутил телесное движение, нараставшее со стремительностью урагана. Он упал на пол, растянулся, раскинув руки в виде креста и молил, молил Мадонну вступиться за него. Приступ, как будто, стал ослабевать. О, Мадонна, Царица, заступница наша!

В это время кто-то тихо поскребся в дверь. Падре поднял голову, дико взглянул в сторону двери, прислушался. В дверь снова постучали. Со стоном он поднялся и пошел к двери, все еще находясь в пространстве прерванной борьбы. Открыл дверь. На пороге стоял мальчик.

— Падре,— робко произнес он, пораженный странным видом священника, его безумным взглядом, спутанными волосами,— падре, я... я за эликсиром.

— Каким эликсиром?.. Ты кто? — Лукрецио все еще был вне себя.

— Молодая синьорина прислала. Она сказала, что вы знаете,— так же робко пролепетал мальчик. Тут Лукрецио разглядел в его одежде цвета семейства Капучилли.

— А-а! — простонал он и потер лоб. Он вспомнил. Ничего не говоря, он вошел в комнату. Взял флакон с зельем и протянул его мальчику.

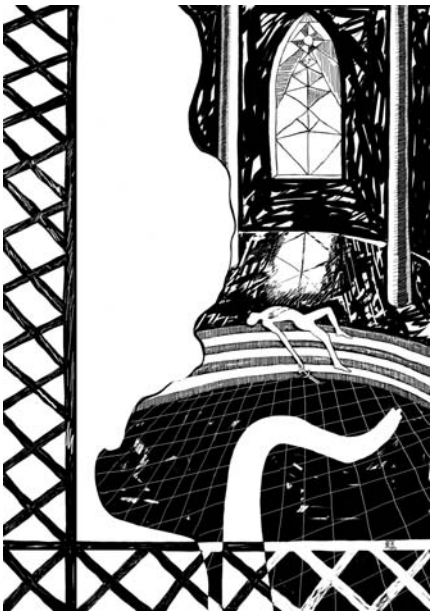
— На. Иди,— отрывисто произнес он и, толкнув мальчика, закрыл за ним дверь.

Постояв несколько мгновений посреди комнаты, он упал на колени и заплакал.

...Падре проснулся. Оказывается, он спал лежа на полу. За окном стояла глубокая тьма. «Боже мой! — содрогнулся падре,— что это было?!» Он обхватил голову руками и закачался из стороны в сторону. «Прости меня! Прости!» — бормотал он. Потом встал, зажег свечу и стал медленно, непрерывно бить поклоны. Он уже успокаивался, как вдруг страшная мысль иглой проколола сердце и мозг. Он вспомнил, что не написал, не сказал, как принимать эликсир, дающий глубокую летаргию. Ведь в большой дозе это яд, сильнейший яд! Его надо было принимать в течении трех дней, каждый раз удваивая дозу. Да и количество его было рассчитано на двоих!

Все в нем застыло от ужаса — ни одна мысль не шевелилась. Только этот ледяной страх. Он резко дернул головой. Надо что-то делать! Но что?! Первым его движением было — бежать. Бежать к дому Капучилли. Он уже схватил шляпу, но тут же остановился. Что, что он скажет привратнику? Что ему нужна молодая синьорина? Сейчас? Посреди ночи? Невозможно было ничего сделать. Ничего! Полная безысходность! Как он, опытный священник, аскет, знающий все правила и ловушки духовной жизни, как он мог попасть в столь ужасное положение? Он может стать причиной смерти двух юных существ и вместо мира принесет горе и страшную скорбь! Сам дьявол вмешался в его беспорочную жизнь! Именно дьявол прислал к нему эту блудницу! А он еще расчувствовался и влез в это грязное дело.

Он подбежал к окну и уткнулся воспаленным лбом в прохладное стекло. Он плакал, нет, не слезами раскаяния, он плакал слезами ярости. «Бестия! Колдунья! Блудная девка! Пришла к нему под видом смирения! Да нет! Какое смирение?» Он вспомнил смелый взгляд девицы, вспомнил, как она прижала его руку к своей груди! Падре зарыдал в новом приступе ярости и отчаяния. И безлунная ночь тускло смотрела на него сквозь оконное стекло...



СМЕРТЬ РОМАНО

Старая Домника, кряхтя, пристраивалась в своем просиженном кресле. В эти безумные дни сон оставил ее, она засыпала на краткие мгновения, которые не давали ни отдыха грузному телу, ни ясности мысли. Думы, одна тяжелей другой, одолевали старуху. Она без конца казнила себя за то, что не обратилась к синьору Оттавио в тот страшный вечер, когда ее молодая госпожа металась между жизнью и смертью! Да и как было решиться на такое предательство? Никогда, никогда бы Джулиана не простила ей, если бы по ее вине ей пришлось расстаться с Романо. «О-о-о! — застонала старуха.— Да кабы знать, что из этого всего выйдет, я бы ни минуточки не помедлила, отобрала бы этот проклятый пузырек и побежала бы к синьору, невзирая на ночь!» Домника бессильно всхлипнула. Мысли ее переметнулись на другой предмет — на собственное положение в этом доме. В эти страшные, суматошные дни, когда даже сама непреклонная, гордая госпожа потерялась, а синьор Оттавио вообще обезножел, о ней, старой няньке, все забыли. Это было благо. Иначе неизвестно, как бы они с ней поступили. Теперь она, хоть и слабо, но все же надеялась, что ее просто сошлют в деревню. А там уж она как-нибудь пристроится, хотя из родных у нее остались только внучатые племянники. Ну да с деньгами все же не пропадешь. А она скопила кое-что за годы своей службы, ведь она когда-то нянчила старших сыновей синьора, а уж потом — и свою голубочку! При мысли о Джулиане старуха вновь залилась слезами. Так она и заснула незаметно, пока кто-то не затряс ее за плечо. Она испуганно встрепенулась и открыла глаза. Над ней склонился незнакомый мужчина.

— Спишь, старая ведьма! — прошипел он, склоняясь к ее испуганному лицу.

— Кто? Кто это? — вскрикнула Домника одними губами — голос отказал ей.

— Не узнаешь! — свистящим шепотом крикнул он.— А как кошелек хватала, так знала, от кого берешь! Теперь-то, небось, больше получила, а?!

И тут Домника узнала его.

— Синьор Романо! — в ужасе вскричала она, невольно заслоняясь руками.

— А-а, узнала!

— Узнала, узнала! — затараторила она, инстинктивно ускоряя речь, надеясь все и сразу объяснить.— Горе, горе-то какое! Я все глаза проплакала. Голубочка моя, касаточка! — запричитала она и залилась слезами. Романо молча смотрел на нее сверлящим взглядом, и его молчание еще сильнее пугало старуху. Да и вид его вызывал у нее содрогание. Ничего не осталось в этом лице от юношеской сверкающей красоты. Округлость щек спала. Проступили скулы, и нос заострился, как у покойника. И лишь глаза, окруженные глубокой тенью, жили на этой неподвижной маске, горели темным пламенем мести и боли.

— Говори, кто? Кто купил тебя?! — Романо снова сильно тряхнул старую няньку.

— Да кто же мог меня купить! — закричала старуха. Романо зажал ей рот.

— Не ори! Услышат! — приказал он. Домника испуганно закивала головой.

— Вы не знаете синьорину! Ей, если что войдет в голову,— все, конец! Никто не остановит! — заговорила она быстрым шепотом.— Мне самой все это не нравилось, да я и не понимала, что она задумала. Падре прислал какой-то флакон, а она, бедняжка, всю ночь! — тут Домника не выдержала и снова зарыдала.

— Что — всю ночь, что? Говори!

— Всю но-очь то смеялась, то застывала как статуя. Мне даже страшно стало. Я ее уговаривать, а она как крикнет: не лезь, старая, не то прогоню! — и плечи старухи снова затряслись. Романо молча смотрел на нее, явно что-то обдумывая. Вдруг Домника схватила его за руку и жарким шепотом заговорила:

— А вы, синьор, благодарите Мадонну, что сами живы остались! Ведь и для вас была приготовлена отрава эта! Да не дошла до вас! — и старуха истово перекрестилась. Романо изумленно уставился на нее.

— Да-да, и вам понесли склянку!

— Кто понес?

— Рикко. Прачкин сынок. Царство ему небесное! — и она снова перекрестилась. Губы ее скривились, но Романо не дал ей заплакать.

— Да говори же ты! — крикнул он, крепко тряхнув ее за плечо.

— Под утро синьорина велела привести мальчишку, написала записку и дала ее вместе с пузырьком, наказав крепко-накрепко, что если записка попадет в чужие руки, то ей и вам, господин, смерть будет. Мальчишка побежал и больше не вернулся!

— Куда ж он делся? — нетерпеливо проговорил Романо.

— Он... он,— Домника заплакала и продолжила сквозь слезы,— его поймали в вашем саду, сразу по одежде поняли, откуда он, и бить начали! А он, бедняжка, пузырек-то тот в кусты бросил, а записку в рот сунул. Когда отняли, она уж вся сжеванная была. Но один, сатана быстроглазый, заметил, куда он кинул что-то. Стали искать и нашли! И тут же... тут же заставили выпить!

— И что? — почти крикнул Романо.

— Что? Что? Да то, что он выпил — и свалился, как подкошенный, к их ногам. Бедная Аньеза, как убивается! Сынок-то единственный был! — и старуха окончательно разревелась. Романо стоял над ней в глубоком раздумье. Услышанное ошеломило его. Падре! Почему? Как он мог желать их смерти? И почему Джулиана выпила эту отраву и прислала ее ему? Неужели она хотела умереть? В тот миг, когда все уже было готово к побегу. И только то, что он был послан в Неаполь по делам отца, отсрочивало их счастье. Нет! Что-то здесь было не так, чего-то он не знает!

— Значит, падре? — спросил он странно спокойным голосом. Старуха закивала головой и глянула на него с испугом.

— Синьор, синьор,— заговорила она, складывая для убедительности руки на груди,— что это вы задумали, синьор? Оставьте, оставьте Богу, ничего уже не поправишь, а вас Он уберег.

* * *

Город спал. Нигде ни огонька. Только кое-где прогуливались стражники, охранявшие покой спящих горожан. Недалеко от собора двое из них тихо переговаривались, спрятавшись от ветра в глубокой нише. Вдруг мимо быстро прошел мужчина в глубоко надвинутой шляпе. Стражники молча проводили его взглядом, но одному из них что-то внушило подозрение.

— Пойдем, Энцо, посмотрим, куда пошел этот синьор,— сказал он.

— Да ну! — ответил ему приятель.— Чего смотреть-то? Небось идет от своей красотки.

— Не-ет,— протянул первый,— никак нет. Разве от бабы так резво скачут? Что-то мне этот синьор не понравился! Пойдем, пойдем, итак застоялись!

Энцо пожал плечами, и оба стражника неторопливо пошли по спящей улице.

Падре Лукрецио читал канон и не услышал, а скорее почувствовал, что кто-то вошел и стал за его спиной. Он резко обернулся и вздрогнул: перед ним стоял Романо и пристально глядел на него. Падре с внутренней дрожью всмотрелся в его глаза — что в них? Горе или смерть? И увидел в них мрак, глубокую бездну. На мгновение промелькнуло ощущение, что стоящий перед ним — мертв. Нет, он, конечно, стоит, смотрит и, наверное, пришел разговаривать, но он уже мертв! Усилием воли падре отогнал неприятное чувство и кратко помолился про себя. Все это время Романо молча смотрел на него.

— Сын мой, какое горе! — кротко произнес падре, но пришелец не ответил. Он еще ближе шагнул и, приблизившись вплотную, так же молча прожигал священника непонятным, пугающим взглядом.

— Хорошо, что ты пришел ко мне, сын мой,— продолжил Лукрецио, стараясь говорить как можно спокойней.

— Я не сын тебе, и ты мне не отец,— заговорил, наконец, Романо,— я судья твой и палач.

— Судья? Но у нас един есть судья — Господь Бог! — воскликнул падре.

— Молчи, не произноси имя Божие,— бесстрастно приказал Романо,— отвечай только на мои вопросы.

Падре молча смотрел на него, взвешивая, насколько он опасен.

— Скажи, зачем ты хотел убить нас? Меня и Джулиану?!

— Я вовсе не хотел этого, видит Бог! — воскликнул падре, складывая молитвенно руки на груди.

— Как видишь, я жив,— продолжил Романо, будто не услышав сказанного.

— Возблагодарим Мадонну! — горячо произнес священник, но Романо, схватив его за ворот одежды, прошипел ему в лицо.— Я спрашиваю, зачем?

— Отпусти меня, я все объясню,— как можно спокойнее сказал падре.

Тиски разжались. Падре повел головой и начал говорить. Романо слушал, не отрывая глаз от его лица.

— Я клянусь тебе всем святым, что есть в этой жизни и будущей,— заговорил падре,— что я старался помочь вам. Больше того! Я хотел примирить, наконец, ваши семьи, покончить с враждой!

— Над нашими гробами?

— Да! Но вы не должны были умереть, нет! Этот эликсир давал глубокий сон, похожий на смерть. А через два дня после похорон вы должны были ожить! И уж никто, никто бы не посмел препятствовать вашему соединению! — он невольно воодушевился, и его волнение передалось Романо. Он вышел из каменного оцепенения, и глаза его сверкнули.

— Так может, она просто спит?! — воскликнул он.— И план не удался, потому что я еще жив?

— Нет- нет, сын мой, увы! Она на самом деле мертва... Страшное недоразумение произошло, вмешательство дьявола, никак не иначе!

— Как вы можете это знать?! — воскликнул Романо.— Ведь не прошло же еще этих дней! Ее только сегодня похоронили...

— Знаю,— глухо сказал священник,— она должна была пить эликсир три дня, каждый раз удваивая дозу... и лишь на третий день она бы заснула... А она заснула в первый же день!

— И что это значит? — не понял Романо.

— Это значит...— падре замолчал.

— Ну! — крикнул Романо и угрожающе надвинулся на него.

— Она приняла все сразу.

Глаза Романо потухли. Он молчал. Вдруг некая мысль, как молния, пронзила его. Он схватил священника за ворот одежды и, глядя в самые его зрачки, прохрипел:

— Так, говоришь — сразу? А почему? Почему?! Разве ты не объяснил ей? Не растолковал, как надо его принимать?!

Падре растерялся. Как объяснить этому, потерявшему от горя всякое самообладание, юноше то, что произошло? Рассказать, как Джулиана своим приходом нарушила весь ход его жизни. Поломала такими трудами добытый душевный мир? И что он теперь не может и гадать, как и чем обернется для его жизни эта трагедия? Ничего он не сможет объяснить этому разъяренному человеку!

— Молчишь! — Романо опять схватил его за ворот. И тут волна предательского гнева нахлынула на священника и поглотила все его благоразумие.

— Это я! Я должен у вас вопрошать! — закричал он срывающимся голосом.— Как, впав в столь тяжкий грех, вы еще смеете что-то от меня требовать! Как она смела прийти? Не на исповедь, не на покаяние! Ее сам дьявол прислал — разрушить мою жизнь, мой подвиг!

Глаза Романо расширились. Лукрецио стало страшно, но он уже не мог остановиться.

— Блудница! Дьяволица! — кричал он. Тут стальные руки схватили его за горло, и он захрипел. Все крепче сжимались пальцы на горле задыхающегося падре.

— А-а! Что я говорил тебе! — раздался внезапный крик, и руки стражников рванули Романо от его жертвы. Он в бешенстве оглянулся и попытался вырваться. Но две пары рук держали его цепко. В этот миг падре застонал, и один из стражников, отпустив Романо, бросился к нему. Этого было достаточно. Романо освободившейся рукой молниеносно выхватил стилет и коротким, мощным ударом всадил его себе под дых...

ИНТЕРДИКТ*

Площадь перед собором была забита народом. Люди стояли стиснутые, как сельди в бочке. Они висели на деревьях, фонарных столбах. Конечно, все балконы и даже некоторые крыши были заняты любопытствующими. Не только смерть двух юных детей враждующих семейств собрала их здесь, хотя это страшное событие потрясло весь город: последние три дня только и было толков об этом. Но главным событием сегодняшнего дня был приезд известного на всю Италию проповедника, каноника Риенцо Дуно. Его прислал Рим. Да, дело это не смогло укрыться за стенами города, ведь в нем был замешан священник. И само по себе оно выходило из ряда не столь

* Интердикт — запрет на богослужения.

уж редких смертей, случавшихся в результате поединков. Нет, эти два юных тела, стоявшие на украшенных цветами одрах перед соборной папертью, символизировали нечто столь значительное, сколь и ужасное для судеб самой Вероны, что это чувствовали и понимали все жители города, от мала до велика.

Одр Джулианы, принесенный из склепа, был покрыт тонким белым покровом: тление уже тронуло тело девушки. Одр Романо был открыт. И всех поразило его лицо: изможденное, темное, со страдальческой складкой губ. Ему никак нельзя было дать его семнадцати лет. Сидевшая у одра Симонетта ди Монтано неотрывно смотрела на горький лик своего сына, и тихие слезы непрерывным потоком струились по ее запавшим щекам. Отец и старшие братья Романо стояли за ее спиной, и все: их позы, руки, нервно сжимающие эфесы шпаг, их тяжелые взгляды — все говорило о страшном гневе, сдерживаемом великими усилиями и готовом неудержимой яростью прорваться, как только наступит подходящий момент.

Другая картина рисовалась на стороне Джулианы. Дон Оттавио вообще обезножел, когда услышал страшную весть, и сюда, на площадь, его принесли в паланкине. Он сидел, свесив голову на грудь, и какое-то бормотание, прерываемое изредка всхлипами и стонами, исходило из его уст. «Что он говорит?» — то и дело спрашивали в толпе. Но расслышать было невозможно: голос его был слишком тих. Дона Власка стояла, выпрямившись, вскинув голову и ни на кого не гладя. Лишь изредка, когда бормотание и всхлипы становились сильнее, она косо поглядывала на своего мужа, и брезгливая гримаска презрения трогала ее плотно сжатые губы. Уж она-то знала, что он там бормочет. Он говорил только одну фразу, только ее и повторял бесконечно: «Бедная девочка! Она приходила ко мне за помощью и я, я! оттолкнул ее!». Больше от него ничего не слышали, и он вообще не реагировал ни на какие вопросы и обращения.

Теобальдо, старший, был потрясен не только смертью сестры, но и ее таким неожиданным коварством! Он теперь понимал, зачем она приходила к нему, когда его ранил ненавистный ди Монтано! Не его рана, не его страдание устрашило тогда неверную сестру. Нет, она тряслась за жизнь своего любовника! Теобальдо почти не смотрел в сторону братьев Романо. Зато туда кидали угрюмые взгляды его младшие братья Энрико и Лючано, озлобленные и полные страстного желания, похожие на молодых волчат, рвущихся к добыче...

Все это зрелище наблюдалось и непрерывно обсуждалось толпой. Но вот тяжелые двери собора открылись — и вышла целая толпа духовенства. Почти всех горожане видели впервые. Они узнали только своего епископа и настоятелей других веронских церквей. Епископ благословил народ, он и остальные отцы помолились. Затем вперед выступил высокий, худой священник с совершенно невыразительным, бесстрастным лицом, прорезанным продолговатыми морщинами. Это и был проповедник. Он встал, скрестив руки на груди, и устремил задумчивый взор на тела возлюбленных. Толпа замерла. Но проповедник молчал. Глубокая тишина водворилась на площади. Дона Власка взглянула на него в пристальном ожидании. Наконец он открыл уста и заговорил. Так тихо и спокойно, что в толпе зашелестело: «Что? Что он сказал?». Он чуть повысил тон голоса — и все услышали неожиданные слова:

— Когда я был юн, как этот мальчик,— и он медленным движением простер руку в сторону одра с телом Романо,— да, когда я был так же юн, у меня была невеста.— Он поднял глаза, и легкая тень улыбки чуть тронула его уста.— Ах, как она была хороша, моя Флоретта! И как же я любил ее...— Голова его склонилась на грудь. Народ застыл в глубоком изумлении. Симонетта ди Монтано подняла голову и заплаканными глазами взглянула на каноника. Он почувствовал ее взгляд и, повернувшись к ней, воскликнул полным, глубоким голосом: — Да, она была прекрасна, и я горячо любил ее... но за три дня до венчания она умерла!

Симонетта вздрогнула и закрыла лицо руками. Народ глухо ахнул. Проповедник молча обвел площадь глазами и после паузы заговорил, ровно роняя слова:

— Я думал, что умру... сойду с ума от горя... Лишь потом, намного позже, открылось мне, что Господь уготовил для меня гораздо более высокое, неизмеримо более высокое предназначение, чем то, что я тогда мыслил,— служить Ему, служить всей жизнью своей! Всем духом и телом!

Голос каноника зазвучал с необоримой силой, глаза его наполнились светом и дерзновением. Толпа шумно передохнула, лица людей разгладились. Проповедник снова задумчиво посмотрел на народ и сказал:

— Действительно, разве может наш бренный ум понять, увидеть истинный смысл событий, когда они роковым образом свершаются в нашей жизни. Только один Бог знает, зачем Он посылает то или иное испытание нам, грешникам! — он грозно взглянул на толпу, затем медленно повернул голову к одру, покрытому тонкой пеленой.— Бедная девочка! — глухо произнес он.— Она хотела жить. Она любила... И она не думала умирать! — Он посмотрел на толпу с таким гневом, что люди невольно попятились назад, отдавливая ноги стоящим позади.— Вы! Вы убили ее! — Он резко выкинул руку и обвел ею пораженных родственников. Симонетта зарыдала в полный голос. Сыновья ее набычились, а Дона Власка непримиримо вскинула голову. Толпа рокотала.

— И вы! — крикнул проповедник яростно.— Вы все — виновники смерти этих детей! Это не только дети Капучильо и ди Монтано! — это ваши дети, дети города Вероны!

Народ ахнул.

— Да-да! — крикнул каноник.— Десятилетиями лилась среди вас кровь! Лучшие юноши убивали друг друга! Или вы думаете, что кровь, которую пили площади и мостовые вашего города, не вопияла к Богу? О не-ет! Всему когда-то приходит конец...

Голова его упала на грудь, и он замер как статуя. Никто не смел шелохнуться. Вдруг он поднял голову и обвел площадь сосредоточенным, полным внутренней силы взглядом.

— А я знаю! Дерзаю утверждать, что мне ясен тайный смысл этого горестного события.— Он помолчал и затем бросил в толпу раздельно, как камни, семь слов:

— ЭТО ВАША СТРАШНАЯ ЖЕРТВА... ВО ИМЯ МИРА!

Люди окаменели. Помолчав, он снова заговорил:

— Милосердный Бог! Он протягивал к вам руки... Да, именно они,— он бросил полный печали взгляд на два неподвижных тела,— они готовы были дать всем чудесную весть, весть о мире... о прощении... о Христовой любви! В их телах могла соединиться кровь обоих семейств. И рожденное ими дитя могло принести долгожданный мир... мне известно больше: они дерзнули совершить во имя любви великий грех — они соединились без брака! Без благословения своих отцов... грех! И они вкусили его последствия.

Пока он это говорил, смятение охватило два враждующих клана. Никто из этих семейств не мог даже предположить такого. И сейчас этот приезжий каноник перед всем городом огласил их позор! От проповедника не ускользнули ни гневные взгляды, ни заломленные руки. Он видел все. И сказал в ответ:

— Не вы ли сами толкнули своих детей на преступление?! Я вижу лишь одного человека, который кается, который сражен не пощечиной своей родовой гордости, нет, он сражен горем! — И мягким жестом он указал на сломленного синьора Оттавио.— И вижу я еще одну скорбную мать.— он проникновенно взглянул на Симонетту.— А вы! Вы и сейчас, перед этими гробами, полны злобы и ненависти! И тем самым вы оправдываете отчаянные поступки ваших детей! Вот ваша жертва — Романо. Самоубийца!

Симонетта, рыдая, упала на колени.

— Плачь, плачь, матерь! Слезы твоего покаяния, хоть я уверен, что именно ты ничего злого не совершила, слезы твои так нужны твоему бедному сыну.

В толпе послышались отдельные стоны, всхлипывания и, наконец, вся площадь заплакала.

— Люди! — крикнул священник.— Я хочу хоть немного утешить вас! Да, это имеет вид самоубийства. Но было ли оно? Был ли этот человек,— и он снова указал на Романо,— в состоянии контролировать свои поступки? Нет! Отчаяние целиком поглотило его разум — сама последовательность событий говорит нам об этом. И повторюсь, сказав, что это не самоубийство,— это убийство! Ваша ненависть заселила город демонами. Даже священник, отец Лукрецио, пал жертвой их коварства. Он совершил недолжное. Но он хотел дать городу мир. Он составил напиток, который мог создать лишь подобие смерти. И рассчитывал, что внезапное оживление детей примирит враждующие кланы... Сейчас он предстоит пред церковным судом. И суд решит его участь,— добавил он устало.

Площадь шумела. Слишком потрясающие вещи говорил проповедник. Епископ взглянул на него. Каноник властно поднял руку. Народ послушно замолчал.

— Все события и все участники их подтвердили один непреложный факт — НА ЗЕМЛЕ, ЗАСЕЯННОЙ ГРЕХОМ, НЕ МОЖЕТ ВЫРАСТИ ПЛОД ПРАВДЫ.

Он замолчал. Все напряженно ждали продолжения. Но он, повернув вдруг просветлившееся лицо к плачущей Симонетте, произнес нежно:

— Не бойся, мать. Хоть по канону мы не сможем отпевать твоего сына, я сам буду его предстателем перед Всевышним. Я буду умолять Его! Бог всемилостив. И я горячо верю, что он помилует твоего сына.

Симонетта подняла глаза, полные благодарности к этому незнакомому человеку, который понял ее самую главную скорбь, и вот — дает ей надежду. Народ зашумел, уже радостно. Проповедник поднял руку.

— А теперь — самое главное,— произнес он спокойно и твердо,— я приехал примирить вас. И если вы пожмете друг другу руки в знак мира, Господь примет жертву ваших детей как необходимую и не будет судить их строго.

Он скрестил руки на груди и обвел семейства взглядом. Обе семьи были в смятении. Мужчины кидали друг на друга мрачные взоры. Желваки пробегали по их скулам. Симонетта, вскинув молитвенно руки, кидалась то к сыновьям, то к мужу. Те упрямо гнули головы. В другом семействе картина была более однообразна. Дона Власка стояла, как статуя, ни разу не дрогнув, не повернув головы. Теобальдо отвернулся от своих врагов. Народ зашумел.

— Ну что же! — перекрывая шум, грозно крикнул каноник.— Вижу, что каменные сердца нельзя растопить никакими увещаниями. Но клянусь святыми ранами Христа, я не уеду из этого города без мира! У меня, вернее, у Церкви есть оружие, которое сломит любую гордыню. Я объявлю интердикт!

И он замолчал. Страшный смысл его слов мгновенно дошел до всех. Семейства тревожно переглянулись, народ загудел. И тогда проповедник крикнул всему этому сборищу: «ДА! ДА! Вы меня правильно поняли — я запечатаю ваши церкви! Вы будете жить в грехах ваших и не сможете покаяться! Не сможете ни крестить, ни венчать, ни отпеть. Никого! А вы, гордые враги,— он метнул гневный взгляд на Дону Власку,— вы становитесь причиной общего бедствия! И я не завидую вам.

— Власка, Власка! — раздался слабый, полный мольбы голос.— Смирись, молю тебя, смирись!

Это синьор Оттавио взывал к своей непреклонной жене. Он даже попытался привстать, но не смог — ноги не держали его, и он со стоном рухнул на свое ложе. Симонетта сделала два шага и протянула руки.

— Синьора! — слабым голосом заговорила она.— Нам больше нечего делить... И детей нам не вернуть... Не будем вызывать еще больший гнев Господень. Смотрите: наши мужья и сыновья уже готовы протянуть руку мира. Неужели мы с вами, слабые женщины, подвергнем весь город такому тяжкому наказанию! Ведь нас с вами проклянут!

И она закрыла лицо руками. Дона Власка только слегка покосилась на нее. Вот она, ее соперница! Жалкая, ничего не осталось от той нежной красоты, которой пленялся Оттавио. Дона Власка отвернулась. И тут она услышала за своей спиной угрожающий гул. Она повернулась на этот гул и вздрогнула: на нее с ненавистью смотрели сотни глаз! Толпа зашевелилась и придвинулась к ней, рыча. И тут впервые Дона Власка испугалась. Растерянно глянула она на мужа, на соперницу. Симонетта протягивала к ней руки с такой кротостью, с такой странной, невозможной любовью в исплаканных глазах, что сердце Власки толкнулось в груди, забилось тревожно и часто. И гордая женщина невольно сделала шаг вперед. Симонетта бросилась к ней, и голова Власки упала на тонкое покрывало, скрывающее поседевшие кудри былой соперницы. Грудь Власки расширилась, казалось, сейчас разойдутся ребра. Хриплое рыдание вырвалось из-за стиснутых губ. И в тот же миг необычайная, непередаваемая сладость излилась в ее впервые смирившееся сердце...

СОЛНЦЕ НАД ГОРОДОМ
(Эпилог)

Солнце, солнце... Стоит в самом зените. В самом расцвете дневной силы. Льет на город свои беспощадные лучи, смотрит на него из самого центра небес. Все сверкает под его великолепными лучами: блестят отшлифованные лошадиными подковами мостовые, блещут вывески над разнообразными лавочками. А мраморные ступени парадных лестниц в домах знатных горожан как будто тают от великого жара солнечных лучей. Не блестят только окна домов, они узкие, и стекла в них вставлены глубоко, создавая внутри прохладу. Многие фасады обвиты вьющимися растениями, сплошным ковром покрывающими стены, что создает в комнатах дополнительную тень — люди в городе не любят жары, не любят яркого солнца. Поэтому они в этот час, час его торжества, попрятались по домам, как по норам.

У солнца нет плеч. Оно не может пожать их недоуменно. И вообще, оно равнодушно к людям. Оно глядит царственно, бесстрастно.

Сказать, что улица совершенно пуста, нельзя. Вон Беппо, как всегда, сидит у своей лавочки, под вывеской-кренделем, и наигрывает на видавшей виды облезлой цитре. Беппо! Ему и зной нипочем! Он — горский парень. Спустился когда-то со своих гор, и дядька пристроил его к пекарю. Удачно пристроил. Беппо усердно служил ворчливому хозяину, можно сказать, обхаживал его. Но еще усердней служил он хозяйской дочке — носатой, грудастой Марцеле, перезрелой, но очень капризной невесте — несмотря на обилие женихов, которых весьма привлекали денежки ее папаши, она так и не остановила своего выбора ни на ком. Видно, ждала его, Беппо. Достойный плод усердия предприимчивого горца обнаружился столь поздно, что папаше не оставалось ничего, кроме как благословить парочку. Соседи, конечно же, заметили, что плод любви появился намного раньше положенного, но что делать! Посудачили-посудачили — да и переключились на более свежие новости. Зато теперь Джузеппе второй, то есть Беппо младший уже бойко стоит за прилавком лавочки, давая отцу возможность праздно посидеть на табурете возле входа. Беппо младший распечатал обильную женину утробу, и из нее так и посыпались мальчишки и девчонки, так что Беппо старший теперь за столом сам-десятый. Что ж ему гневить Бога — все хорошо. Дело процветает, семья большая, дружная. Вот

он и сидит, терзая свою бывалую цитру, распевая во все горло горские гортанные напевы...

Улица постепенно оживает — солнце переместилось за полдень. Вот проскакал запыленный всадник. Видно, издалека. Наверняка заглянет в таверну дядюшки Уго. Нет, поскакал дальше. Видно очень торопится.

А вот — юная синьорина. Как изящно переступает ножками! Лицо прикрыто фатой — ей ни к чему загар, личико должно быть всегда беленькое. За ней плетется дуэнья. Тощая и желтая. Ишь, брови сводит! Недовольна, наверное, что в такую жару ее вытащили из дома. А синьорине хоть бы что! Скользит, как лодочка. А правда, куда это она в такую жарищу собралась?

Солнце смотрит на город. Оно уже заметно переместилось. И народу на улицах все больше и больше. Вот несут паланкин. Какая-нибудь знатная дама восседает за малиновой сторкой. Носильщики идут мерным шагом, легко, будто несут перышко, а не живого человека. Золотистые, отполированные их лапищами поручни паланкина лежат на их плечах покойно. Возле стены высокого, с башенкой, дома стоят три молодых синьора. Увидев приближающийся паланкин, они стаскивают с голов береты, шляпы и усердно кланяются. Дрогнула на мгновенье и приоткрылась сторка, глянул любопытно черный смеющийся глаз — и паланкин проплыл дальше, унося очаровательное виденье...

Все больше и больше народу на улицах. Слышны отдельные всплески разговоров, кое-где — смех. А вон — запели. И как хорошо поют!

Люди уже не прячутся, не боятся солнца. Да и что его бояться? Истощило уже дневную силу, склоняется к закату. Нет уже в лучах царственности, величия. Скорей, меланхолия. Свет ровный, мягкое тепло.

Закатные лучи остановились на высоком строении с широкой лестницей, с мраморными вазонами, из которых струится к земле густая, пышная вьющаяся зелень. На втором этаже растворено окно, отдернуты шторы. У окна, облокотясь о подоконник, почти высунувшись из рамы, повисла девочка с темно-медной копной волос, с ниточкой жемчуга на тонкой шее. Она страстно, напряженно вглядывается в людей на площади. Кого она там высматривает? Пока что слышны только обрывки знакомой песни. Она знает ее и тихонько допевает отдельные пропадающие слова. Эту песню любит ее брат, Теобальдо. А вот и он оказался, наконец, в поле ее зрения. С высоты дома он не такой уж большой. Он и его три друга кажутся стройными мальчиками. Они идут, обняв друг друга за плечи, и задорно орут свою веселую песенку. Теперь девочка слышит все слова и, как всегда, не понимает ее героиню, красотку Люческу.

Что плачешь, Люческа, над сломанной розой?
О-ля, ля-ля, ля-ля.
Что льешь запоздалые горькие слезы?
Ля-ля, тра-ля, ля-ля.
Зачем же калитку ты в сад открывала
И позднего гостя в калитку впускала?
О-ля, тра-ля, ля-ля!

Девочка недоумевает: что плакать над сломанной розой? Вон у них в саду сколько! И если вдруг они поломаются, садовники тут же насадят новые.

А песни уже нет, звучит смех. Подбадривающие выкрики. В лучах заходящего солнца, словно серебряные нити, поблескивают шпаги. Это двое друзей затеяли звонкую шутливую перебранку. Девочка в восторге! Как свободны ее брат и его друзья! Идут, куда хочется, делают, что хотят. Девочка завистливо вздохнула: ну почему

я не родилась мальчиком?! Тряхнула энергично головой и еще ниже свесилась с подоконника, так, что толстые ножки не доставали до пола.

— Ах, негодница! — послышался ворчливый старческий голос.— А вот пожалуюсь матушке, что тогда!— Девочка отскочила от окна, старуха задернула шторы.— Сколько раз говорено, а толку нет! — продолжала она.— Ведь так и выпасть можно, и заболеть. Вон какой прохладой тянет! — И она закрыла окно. Девочка вытянула важно губы и показала язык старухиной спине.

И на самом деле, за окном струилась прохлада. Солнце садилось. Его лучи мягко легли на темнеющую зелень сада, тронули скользящим золотом янтарную сливу, пурпурный бок граната. Эти нежные, почти бессильные лучи окрашивали наступающие сумерки чуть грустным, щемящим очарованием. Солнце прощалось с остывающими улицами, площадями, садами. Воздух чуть трепетал, готовясь к ночному покою. Земля блаженствовала.

GLORIA...

GLORIA...

GLORIA MUNDI...*

* *Gloria mundi* — слова из известного латинского выражения: *Sik tranzit Gloria mundi* — Так проходит слава мира.

Ольга Пономарева-Шаховская
(г. Москва)

ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО

Повесть. (Часть 2)*

Москвичка, окончила Московский электротехнический институт связи, инженер-электромеханик. Работала в проектных институтах. Стихи и прозу пишу с 1998 г. Публиковалась в альманахах: «Истоки», «Озарение», «Стихосвет», «Протуберанцы», «Белая Скрижаль», «Московский Парнас». Автор 4-х книг: «Образ мысли — стихи» — 2000 г., «Мозаика» — 2002 г., «Ходики» — 2004 г., «Стихия» — 2008 г. Подборка стихов вошла в Антологию Современной поэзии «Созвучья слов живых», т. 6, изд. «Московский Парнас», 2011 г. Член Международного сообщества писательских союзов и Союза писателей России.

ОБЕД

С мая установилась необычайно теплая погода. Санька жил с бабушкой и дедушкой на даче. Дедушка и бабушка — «деды» недолюбливали ее, потому что бытовая неустроенность лишала их доли необходимого комфорта, к которой они привыкли в городе.

Вдруг бабушка внезапно заболела, и Санька уехал в Москву. Оставлять ребенка одного — нельзя: мал еще. У отца сохранился большой неиспользованный отпуск за период командировки. Санька предложил ему взять отпуск, чтобы отдохнуть, используя хорошую погоду, и построить вожделенный погреб.

Отцу дали полмесяца. Все заботы, связанные с садом, лежали на родителе, он стал строить погреб, так что кухарить было некогда. Мать подводила балансы, рассчитывала премии в Москве.

Однажды Сашка и Лешка пошли на пруд, а дело было к обеду. Успели искупаться по разочку. Вдруг видят, по бугру-гребешку, отделяющему территорию военного аэродрома от территории совхоза, кто-то идет знакомой прихрамывающей походкой. Отец хромал с детства, и никакие врачи-знахари не помогли ему преодолеть недуг.

— Пап, ты чего пришел? А как же обед? — спросил удивленно Санька.

— Стоит на керогазе,— сказал отец и добавил любимую поговорочку: — Пес его дери!

— И кто за ним смотрит? — поинтересовался Санька.

— А что за ним смотреть? Готовится и ладно! — подвел черту повар.

Накупавшись вволю, не замечая бег времени, о котором им настойчиво напомнили желудки, ребята с отцом пришли домой.

— Сегодня,— заявил он,— французская кухня. Первое блюдо — суп под названьем «Жуи де плюи», второе — «Кормилиус».

— А биточков по голове и гуляша вокруг стола не будет? — хитро спросил Лешка.

---

* Окончание. Начало см. в «ПЗ» № 2/2012.

— Нет, не бойся. Этого нет, — сказал отец и налил суп в тарелки.

Супчик оказался дивного, неподражаемо ярко-зеленого цвета и при этом совершенно безвкусный. Выяснилось, что приготовлен он был из уже открытых и случайно забытых консервов, названных, если следовать надписи на этикете, борщом. Первое блюдо, по сути, целиком и полностью соответствовало названию, данному ему отцом, и незамедлительно полетело в компост.

«Кормилиус» представлял собой вполне сносную еду, особенно на голодный желудок. Картошка с тушенкой — милое дело со свежими огурцами, ароматной зеленью с грядки и репчатым луком, а если еще туда добавить томат-пасты, то за уши не оттащить.

Была бы мать в отпуске, она бы не допустила подобного волюнтаризма и «не стала бы кормить ребенка чем попало».

Во время дачного сезона многие садоводы питались тем, что привозили на своем горбу, или купленным в деревне молоком. Иногда выручали овощи с огорода. В Сашиной семье было жестко заведено трехразовое питание, не зависимо от того, где она в данный момент находилась в городе или на даче.

САМОВАР

На даче Дед любил ставить самовар. Это был целый ритуал. С незапамятных времен жил в доме самовар фирмы «Баташовъ» на одно ведерко, с медалями на «груди», серебряного блеска, если его часто чистить кусочком кирпича, не допуская зелени цвести на его боках.

Сначала, хмурясь и кряхтя, Дека сливал остатки воды, вытряхивал из самовара золу. Снизу растопочная труба закрывалась круглой самодельной металлической крышечкой с петелькой. Была до нее заводская решетка, да прогорела.

Дед ставил самовар на улице, на специальной площадке из двух вкопанных в землю кирпичей возле «ветряка» — деревянного столба, выходящего из асбоцементной трубы. Столб сверху венчал деревянный крашеный флюгер в виде самолетика, выточенный отцом.

Дедушка никогда не носил самовар с холодной водой, он наливал колодезную воду (водопроводная хранила «стойкие воспоминания» о трубах в виде ржавчины) из ведра прямо на месте для растопки. На дощечке рубил чурочки тоненькие и маленькие, чтобы свободно проходили в трубу. Огонь разводил, поджигая газету, потом добавлял мелочь-щепки, а за ними «кормил» огонь чурбачками.

Трубу на самовар он не надевал до тех пор, пока огню не станет тесно и он не станет выполахивать наружу. Как надевал трубу, так она начинала «гудеть», а иногда из нее вымахивал огонь. Труба была сделана им из металлического листа, края которого он завальцевал в шов. Нагревалась она быстро — плюнешь — шипит, и Дед брал ее тряпкой.

Перед окончанием процесса Дека клал в топку несколько шишечек, дающих смоляную «отдушку». Защитная полоса из деревьев, посаженных садоводами для отгораживания участков от мощного ветра, гулявшего по соседним полям и аэродрому, изобиловала елями, поэтому запасливым хозяевам шишек всегда хватало.

О том, что самовар кипит, Дед узнавал по возникновению пузырей в отверстии для выпуска пара. После этого обдавал кипятком заварной чайничек, клал 3—4 ложечки заварки и, под настроение, либо три листочка перечной мяты, успокаивающей нервы, росшей в конце участка напротив коричной яблоньки, либо брусничного листа для выгона солей, иль земляники для дыхательных путей со «смородовым» листом. А для пущего аромата — вишневого листа, надерганного с прореженных веток и высушенного годом раньше.

Потом Дед приносил самовар и ставил его на почетное место во главе стола. Самовар еще пыхтел, и дух на веранде стоял особенный — пахло древесным дымком.

Тут же мать и бабушка собирали на стол: чашки, блюдца, ложки, домашнее варенье, которого в доме всегда водились «моря», сыр, масло, колбасу и хлеб. Очень любили класть колотый сахар, щипчиками коля кусочек на части. Сейчас такого в столичных магазинах не сыщешь, а вот на рынке иногда попадается.

Домашние любили пить чай из самовара. Дед священнодействовал, и лицо, глаза его светились тайной радостью приобщения к приятному занятию.

На следующие сутки вода в самоваре остывала, ее пили.

Ближайший колодец выкопали посередине участков у дома сторожа на Центральной улице давным-давно, когда Санька еще дошколенком был. Оттуда в ведрах таскали чистейшую воду, слегка «обогащенную» известняком, но последний при кипячении выпадал в осадок, образуя на внутренних стенках самовара белесый налет.

Много позже, после Деки, на участке вырыли колодец о девяти кольцах, на него поставили деревянный домик-крышку. В колодце забило три ключа.

А самовар до сих пор жив и радует домочадцев.

МУЖИКИ

Николай возвращался домой после ранения.

Будучи человеком осторожным и неглупым, подъезжая к Москве, он бросил трофейный «вальтер» через разбитое окно тамбура электрички куда-то в частый березняк, столпившийся у железнодорожного полотна. Несмотря ни на что, он считал себя счастливым человеком. Может быть, потому что тихо верил: Бог помогает людям в трудных жизненных ситуациях.

Николай женился еще до войны, вернулся домой на своих ногах, сейчас у него подрастал сын. А тот горький период его жизни (существование в концлагере трудно было назвать жизнью) не озлобил, не ожесточил сердце солдата, не заколотил досками недоверия вечно распахнутую настежь душу. Он уважал всех на свете, считая, что в каждом человеке есть искра Божья. Познав боль утрат, унижение и разочарование, он бережно относился к окружающему миру: никогда ни на кого не кричал, жил дружно с соседями, говорил тихим, как бы извиняющимся, голосом. Однако пережитым ни с кем не делился, лишь изредка позволял себе смахнуть застарелую горечь в наполненный доверху граненый стакашек, да и опрокинуть его залпом, притупляя тяжелые воспоминания, постоянно бередившие измученное сердце.

В начале 50-х Николаю — человеку заводскому — выделили участок в восемь соток под Москвой. Знай — копай да корчуй спиленный кем-то лес. Вместо лебедок и прочих средств механизации — топор, молоток да крепкие руки. Мужик он был справный, трудолюбивый. Со временем построил дом из того, что сумел достать. Печки в нем не было. Потом на важных чертежах, изображавших будку, разрешенную тогдашними властями (одноэтажное строение для хранения садово-огородного инвентаря), откуда ни возьмись, появилась, как бы нарисованная детской шаловливой ручкой, аккуратная печная труба. Народ поверил в сказку, которая непременно станет былью и начал спешно обзаводиться печками.

Поскольку Николай с женой открывали дачный сезон в апреле, а заканчивали в октябре, как правило, после Покрова, то печь им была просто необходима. Встала она красавицей из красного кирпича в большой комнате. И обед сварить можно, и воды для мытья вскипятить, и погреться — будьте любезны. Одна досада, при растопке кирпич неудержимо пах аптекой, но домочадцы привыкли.

Годы летели. Хозяин пристроил к дому террасу. К тому времени он стал дедом.

Внука Лешку возили каждое лето к деду с бабкой для укрепления здоровья и отдыха. Лешкин отец подался подзаработать куда-то на север, да и сгинул. Лешкина мать работала закройщицей, заказов много, на сына времени не хватало, с ее согласия внука стали воспитывать дедушка и бабушка — «деды».

С апреля они продавали в гарнизоне, что находился поблизости, соленые огурцы, высыпав их из трехлитровых банок в эмалированное ведро. От одного вида их у опытного гурмана нет-нет, да и зачешется во рту, а по обеим сторонам языка поползут тягучие слюнки. Продавали раннюю зелень, редис, позднее — помидоры, ягоды, яблоки, все то, что произрастало на участке и могло принести доход в тощий семейный кошелек.

Лешкин дед, Николай Сергеевич — мастак на всякие инженерные придумки, изменил до неузнаваемости обетованный клочок земли. Он организовал корневой полив деревьев.

Скорее всего, на аэродромной свалке, куда он наведывался по весне, пока шныряющих везде дачников было мало, Сергеичу удалось раздобыть манометры. Установив их на водопроводные трубы от водонапорной башни, он мог контролировать уровень заполнения ее водой. Рядом с домом хозяин выстроил железобетонную кухоньку, сильно смахивавшую на трансформаторную будку. Крыши всех строений участка, как диковинные головные уборы, были украшены причудливыми флюгерами из жести и стальных труб.

Плиты на дорожках участка дед делал сам из бетона и арматуры, но часть дорожек была покрыта железными листами с круглыми отверстиями. Листы он приволок с того же благословенного аэродромного Клондайка. Во время войны их скрепляли по длине и ширине, чтобы получалось целое поле для посадки самолетов — передвижной аэродром. Приземляясь на такое поле, самолеты издавали звук подобный ударнику в оркестре. Вездесущие мальчишки говорили, что в войну там стояли самолеты эскадрильи «Нормандия-Неман».

Как-то у деревни Лешка нашел целое мальчишье богатство — настоящий немецкий кинжал со стертым символом принадлежности к войскам СС. Его клинок из желтоватой стали был обломан так, что до рукоятки оставалось сантиметров 20. Он одинаково плохо поддавался заточке и плохо тупился.

«Деды» никогда не запрещали внуку заниматься стрельбой дома. Сергеич говорил: «Мужик должен уметь стрелять!» А бабка, помалкивая, думала: «Все на глазах. Видно чем занимается».

При явном попустительстве «дедов» Лешка со своим закадычным дружком Санькой, что тремя годами старше, устраивали на террасе настоящее стрельбище. Сначала с расстояния пяти метров из «духовика» они целились в детские кубики, потом, воткнув спички веером в спичечный коробок, отстреливали им серные шапочки.

У деда было ружье 16-го калибра, которое он держал незаряженным. Он раздобыл сигнальных патронов и дал пострелять ребятам, словно из ракетницы. Зеленые и красные огоньки украсили темное небо. На салют это, конечно, не тянуло, но все равно здорово!

Как-то летом дед устроил стрельбы. Во вскопанное поле воткнули кол, на него повесили умыкнутую из хозяйства трехлитровую банку.

Дед и Санька с Лешкой отошли на почтенное расстояние, метров на 50. Первым стрелял Лешка. Промазал. Дед осерчал. Санька снес полбанки случайно, так как не ожидал, что это ружье имеет такой мягкий и быстрый спуск, а команда «опробовать оружие» не прозвучала.

Лешка занимался спортом, но разрядов не имел, хотя из любой драки уходил с честью. Он был курнос, мускулист, высок, голубоглаз, носил длинные ухоженные

волосы, писал стихи, не боялся службы в армии, с детства нравился девчонкам, и сам приударял за какой-нибудь новой смазливой мордашкой. Он — пижон: обожал носить на шее яркий платок или серебряную цепочку, модные брючки с прорезными карманами. Вот учился паренек плохо. В восьмом классе он с ужасом думал об экзаменах. Но, поймав в дачном пруду ветрянку, Лешка счастливо увернулся от ожидаемой публичной экзекуции.

Молоко тогда носили из деревни. Молочница Марья, молодая дородная девушка с русой косой, розовощекая, с голубыми глазами, полуприкрытыми густыми ресницами, была ни дать ни взять русской красавицей. Дед млел, находясь рядом с ней, ему стоило больших трудов не коснуться или, еще того хуже, не ущипнуть ее. Чтобы никто не догадался о его сердечной слабости и скрыть смущение, он напускал на себя строгий вид.

Однажды Марья принесла в лукошке трех котят.

— Возьми, Сергеич, хоть одного, топить тварь божью рука не подымается, а кормить, куда к шутам! У меня уже есть кошка,— говорила, будто всхлипывала, молочница.

— Ты, Марья, покажи моему внуку. Он охоч до всякой живности. Жили в доме кроли. Он со своим приятелем Санькой до чего додумался: совать им под лапы детский барабан, да и слушать кроличьи концерты. Потом хомяка где-то купил, ну точно крыс, только окрас рыжий! И кормили эту тварь нормально, а он, словно из голодного края, проел дыру на новых Лешкиных брюках. Леха, до тебя тут пришли, — крикнул дед в сторону сарая, где мальчишки увлеченно клеили бумажного «змея».

— Чего, дедушка?

— Кошечку хочешь? Так иди, смотри.

— Ой, деда, какие махонькие, пушистенькие. А вот этот трехцветный, богатый. Марьюшка, это кот или кошечка?

— Да кошечка это, милый, кошечка. Смирненькая, ласковая. Ишь, как смотрит, будто понимает чего, животинка подневольная.

— Ты это, вот что, Марья, на лето только возьмем, как в пионерлагерь. Как бишь ее звать-то, Мурка, что ли?

— Мотей. Она на Мотю откликается. Спасибо, мужики.

Чего только Лешка и Санька над бедной Мотькой не творили. Измеряли ее бабкиным сантиметром от носа до хвоста, взвешивали на безмене в авоське, а потом записывали полученные результаты в специальную тетрадку. Ребята пытались ее дрессировать, но смышленая кошечка оказалась с норовом, и ребячьи задания выполнять категорически отказывалась.

Каждый день Леша наливал ей молока, чему Мотька была несказанно рада. В сентябре Марья пришла за отпускницей. Куда там, кошара прижилась у Лешки и не захотела уходить: как неизвестная доселе миру птица, взвилась она на самый верх пятиметровой груши, не порадовавшей своих хозяев за все время существования ни одним плодом, цеплялась за тонкие ветки, истошно крича от страха, поскольку дерево слегка качалось от ветра.

Пришлось Лешке выручать животное. Как мальчик не упал, не знает никто. Спасенная кошка тут же юркнула под дом, откуда ее, уже умудренную опытом, даже с помощью карманного фонарика достать было невозможно.

Чем старше становился дед, тем чаще посещали его грустные мысли о прошлой жизни, и это было заметно по глубоким морщинам, опускавшим уголки рта вниз. Сеансы принятия «успокоительного» участились.

Как-то дед-аккуратист забыл помыть за собой стаканчик. Бабка, как всегда, копалась в огороде. Через приоткрытую дверь с победным видом влетела оса. Она окинула хозяйским глазом оставленный на столе натюрморт, но прельстилась лишь не-

сколькими каплями жидкости в стаканчике. Допив их, она сделалась совершенно пьяная. Сначала Сашка хотел прихлопнуть любительницу спиртного, но интерес пересилил неприязнь к зловредному насекомому, от укусов которого его отец распухал до неузнаваемости. Оса попыталась взлететь из стаканчика, но не смогла. Леша положил его на бок, тогда она выползла наружу и села на стол.

— Будь я насекомым, я б наверно услышал, как ей плохо. Смотри,— сказал он Саньке.— Она, наверное, вздыхает и собирается с мыслями, как наш сторож, а, может, матерится, складно расставляя слова, как Петька Попов.

— По-моему, она не в себе. У нее проблемы с вестибулярным аппаратом,— авторитетно заявил Сашка.— Не может взлететь. Наверно, думает, что с ней все в порядке, потому что — хорошее настроение: хочется летать и петь, как на празднике. Но вот окружающий мир качается и плывет, а она, бедняга, от этого в шоке.

Оса расставила лапки пошире, чтобы крепче уцепиться за уплывающую опору, потом взлетела сантиметров на 20 вверх. Вскоре ее начало кренить влево, и она упала на стол спиной. Чуть полежав в неудобном положении, она перевернулась на брюшко и раскинула крылья, желая обсушить.

Посушив их на холостом ходу, она попыталась повторить полет. Но опять неудача: оса снова перевернулась и, к огорчению команды болельщиков, оказалась на столе.

Разочарованные мальчишки переключили свое внимание на щекастые помидоры, семейкой лежавшие на подоконнике. Дед берег пасленовые и запрещал Лешке их трогать. Дескать, сорт редкий.

У садоводов принято раскладывать на подоконниках сортовые яблоки или помидоры да огурцы, подаренные соседями на семена. Неправдоподобно красны были эти помидоры для июля. Они зазывно блестели пузатыми бочками.

— Леха, как твои «деды» получают такие красные помидоры, когда у всех они еще совсем зеленые?

— Дедушка сказал, редкий сорт, скороспелые. Давай попробуем по одному?

— Тебя накажут.

— Тю, накажут — ремень покажут. Тумаков не дадут, убегу на пруд!

Леха, предвкушая поэзию вкуса, отрезал толстый ломоть черного ржаного хлеба, посыпал его крупной солью и откусил бочок почти полпомидора-сына, а Санька положил в рот целиком помидор-дочку. Вместо привычной сахаристой сладости и вкусного сока, рты мальчишкам обожгло словно огнем. Леша не выплюнул, а стоически прожевал отраву и доел оставшуюся часть. Поначалу его голова работала четко, в памяти всплыло случайно увиденное действо: дед из бутылочки со спиртом, как доктор, набирал жидкость тонкой иглой в шприц, затем укалывал многократно в то место зеленого плода, где раньше рос цветок. Укол делался в каждый сектор, чтобы огненная жидкость разливалась, словно кровь по сосудам в человеческом организме. Вот оно, срослось! Ребята уже успели узнать вкус водки, и дедова хитрость была раскрыта.

Пришел Лешка с вечерок поздно, так как долго выяснял, кого же все-таки он любит — белокурую розовощекую Татьяну или пышную и ласковую Галину.

Бабушка долго пыхтела, но дед только тихо оправдывался. Дело кончилось миром.

ДЕТСКАЯ МЕСТЬ

Костер для ребят был не просто ежевечерним ритуалом, где пеклась картошка, «травились» байки и анекдоты, пробовали вино, крутились романы, он стал для них местом общения, пространством без взрослых. Костер — магический атрибут детства.

При воспоминании о нем в Санькиной душе разливалось тепло

Жгли его на неудобье, на земле, не принадлежавшей ни садоводческому товариществу, ни совхозу, там, где дорога поворачивала вниз и спускалась к пруду.

В тот вечер ребята, по обыкновению, принесли мытой картошки, собрали сухие ветки, разожгли огонь и расселись вокруг.

Неспешный разговор еще не обрел устойчивого русла, как вдруг явился «Горына Гиеныч» или «"Г" в кубе», он же — Гедеон Геннадьевич Горшков. Мелкий мужикашка с препротивной лисьей мордой, «востренькими» глазками, эдакими микрорентгенчиками и елейно визгливым голосочком. Ему всегда мешали все везде и всюду, поэтому он считал себя в праве совать свой, уже сломанный кем-то нос в любое дело, и с ходу начал орать:

— Что это вы тут костры жжете?! Сады спалить хотите?!

Патологическая привычка сгущать краски выдавала его, как начинающего психопата. Единственный обладатель автомобиля на садах, он ставил свою «Победу» за забор участка, заботливо укрывая ее брезентом.

— Дядь, вы че? Мы тихо-мирно сидим, никому не мешаем. Сегодня воскресенье, у нас культурный досуг и поджигать ничего не собираемся, — ответил Леха, против обыкновения спокойно. На садах он считался неуравновешенным малым, с ножом в кармане, поэтому народ с ним предпочитал не связываться.

Но «закрученный» на работе и зажатый дома властной женой и вздорной любимицей «дочкóй», Горын «закусил удила».

— Знаю я вас, шпана подзаборная! Материтесь, аж пыль к дороге прилипает, курите, пьете. Вон девушки с вами. Приличные все по домам, сидят книжки читают и по кострам не ходят. Разврат один да и только!

— Почему один, дядь? Вы уж четыре насчитали, — простодушно ответил Миха.

— Ишь, шкет, и ты туда же. Молоко на губах не обсохло! Все матери скажу. А еще в Министерстве работает! Интеллигентная, а сын... Много воли взяли! Вот вызову милицию, мало вам не покажется! — С этими словами он вытащил из-за спины и вылил в костер большую банку воды.

Настроение «скисло», и они поплелись по домам, но решили непременно отомстить психопату.

— Проколоть колеса — банально, да и подозрение упадет на нас. Нет полета мысли, а душа требует.— авторитетно заявил Санька.

— Эх, раскрасить бы ее по трафарету,— мечтательно протянул будущий художник Валерка.

— А че, могем! У нас в соседнем доме подъезды красили. Я «бесхозные» валики умыкнул, на них цветочки-листочки — бабская марцеваль — тиснение такое. Строители работу закончили, а их бросили,— изрек хозяйственный Миха.

— А я краску у деда в сарае видел,— поддержал Леха.— Мужики, забориста зараза до изумления. На брюки неделю назад капнул, свести до сих пор не могу, скоро дыра будет. А на его линяло голубой машине, слепой заметит, к бабке не ходи!

— Не дрейфь, салага, если будет густо, растворителя добавим,— сказал Саша.

Дождавшись ночи, мальчики выскользнули из родительского поля зрения, прихватив с собой необходимые инструменты и материалы.

Скинув брезент, прикрывавший машину, они принялись за работу в три руки при свете фонаря. В творческом порыве мщения валики мелькали, и за полчаса все было закончено. Краска сохла на редкость быстро. Закрыв брезент и спрятав улики, удовлетворенные «художники» пошли спать.

Рано утром, наскоро позавтракав, Санька соврал бабушке, что ему срочно надо на пруд, где он договорился встретиться с Лешкой, чтоб ловить рыбу. На самом деле это занятие паренька никогда не занимало.

Саша дошел до плотины, там ребята обычно прыгали с «тарзанки», и встал на самое высокое место, чтоб «заценить масштаб разрушений».

«Гиеныч» с гордым видом в костюме, при галстуке и в белой рубашке, с портфельчиком в руке открывал брезент на своей «лошадке», отвернувшись от нее, любуясь поднимающимся солнцем и вдыхая, утренний аромат трав, слушая неумолчное пение птиц.

Он повернулся, чтобы поставить портфель и сложить снятый брезент, да и застыл в позе страдальца-радикулитчика. Рот его стал медленно открываться и хватать воздух, а глаза вылезали на лоб. Последнее Саша не различал, а лишь представил глупую физиономию «Гиеныча» по непередаваемой энергичной жестикуляции.

Издали коричневатые цветики с листочками на выгоревшей машине смотрелись стройными рядами клякс. Казалось, увидь Горын на машине бегемота, он удивился бы меньше.

Ветерок донес сочный витиеватый мат. Горшков в сердцах бросил портфель, брезент, пиджак, ослабил галстук, колупнул ногтем краску, попытался оттереть. Краска въелась насмерть. Он еще посуетился около машины несколько минут, а потом пошел пешком вызывать милицию, находившуюся в двух километрах от садов.

Молоденький участковый, было рьяно взявшийся за дело, расспрашивал ребят, но те впали «в несознанку», а улик не нашлось. Выяснив обстоятельства, милиционер догадался, чьих рук это дело.

Несмотря на главенство порядка и закона в цивилизованном обществе, он, внутренне соглашаясь с мальчишками, ощущал себя одним из них и оценил глубину мысли... «Хулиганы костры жгут против пруда». Ну какие это хулиганы, обычные ребята, сами такими были, может, еще озорнее. Костер рядом с водоемом гораздо безопаснее, чем на территории садового товарищества, если уж на то пошло.

Победовладельцу участковый объяснил, потребуется время, чтобы разобраться в этом деле, припугнул Горына, что ему придется приезжать в участок для подписания протокола в рабочее время. Однако заверил потерпевшего в том, что обязательно будет информировать его о ходе расследования и виновных непременно накажут по всей строгости советского закона.

Горшков перекрасил машину в темно-синий цвет и перестал оставлять ее за забором. Построил гараж, завел брехливую шавку, такую же, как сам. И мимо пруда больше не ходил. Костер ребята больше не разводили, чтоб не провоцировать...

САДЫ ИЛИ КРЫСА

Их хозяйство начиналось с холщового армейского вещмешка времен Второй мировой войны и притороченной к нему саперной лопатки. Нехитрое содержимое мешка состояло из алюминиевой посуды, свертка забористой махорки, соли, сухарей и грубого солдатского одеяла.

Григорий Михайлович, так звали новосела, оформленного сторожем садоводства, образованного на бывших совхозных землях по приказу Сталина, за неимением ни жилья, ни стройматериалов, со знанием дела выкопал уютную землянку, сложил в ней печурку. Завод предоставил ему топор и молоток, мужик смастерил топчаны, сделал полочки и табуретку, ведь лес тогда находился рядом.

На благословенном кусочке земли, выделенном садоводческим товариществом, супруги разбили сад и огород. Михайловна — жена сторожа — баба работящая, под стать супругу, хлопотала по хозяйству с утра и до темна. Она часто ходила в гарнизон, где продавала излишки ягод и овощей, а на вырученные деньги экономно покупала необходимые продукты. Другого заработка женщина не имела. Михалычу платили за сторожевство. Он был отменным хозяином, такого сейчас вряд ли сыщешь. В

нищие послевоенные годы у него водилось многое: от мыла до гвоздя, а если не водилось, то знал он, где приобрести и чем платить.

По весне, когда семья Петровых объявлялась на садах, сторож важно сообщал Санькиной матери: «Ивановна, нонешний год капуста больно хороша, хрусткая, язви ее! Присылай сына». И Санька с бидончиком шел к сторожу за наипервейшим российским витамином.

Григорий Михалыч то курей разводил, то свиней, то пчел.

Одно время он занялся вязкой собак. Щенков покупал гарнизон для охраны. Санька помнит громкий злобный лай и огромные страшные, клыкастые морды овчарок и догов, скалившиеся через густую металлическую сетку вольеров.

Сперва воды на садах не было, и люди возили ее из ближайшей деревни на тележках в ведрах, баках, флягах, деревянных бочках. Потом вырыли глубокий колодец с деревянным срубом и асбоцементными кольцами. Дивная холодная вода, так что немели зубы, радовала округу. В засушливые времена, когда разбор ее был велик, садоводы сидели на бревнышке возле колодца и, ведя неспешную беседу о житье-бытье, ждали, пока водица натечет. Участки расширялись, и для более эффективного водоснабжения люди поставили водонапорную башню, от которой живительная влага по железным артериям потекла к каждому дому.

Шалея от изобилия, многие садоводы, случалось, заливали участки, так что вода хлюпала под ногами, а после зимы приходилось подсчитывать урон.

К шуму разогреваемых моторов, доносившемуся с военного аэродрома, садоводы привыкли, как к необходимому атрибуту их существования. Ребята бегали на стрельбище, где добывались стреляные гильзы, которые возмущенные матери частенько вытряхивали из карманов.

Аэродромное начальство уважало Михалыча. Правда, истосковавшиеся по витаминам и приключениям солдатики, иногда совершали набеги за яблоками. Однажды одному незадачливому охотнику полакомиться не повезло. Убегая от сторожевой собаки, тот оставил клок из штанов на заборе.

Дабы раз и навсегда прекратить воровство, сторож пришел в гарнизон, где построенным на плацу солдатам скомандовали повернуться. Нарушителя опознали по дыре на штанах. Набеги прекратились.

Когда к сторожке прибилось это мелкое пучеглазое рыжее создание, никто не помнит. Только «Михалычев хвостик», по кличке Тюлька, сопровождал хозяина повсюду. Собачка давала себя гладить, и ей это нравилось. Однако стоило появиться на дороге велосипедисту, псинка бросалась наперерез, нервно лаяла и норовила ухватить седока за штанину. Мамаши укушенных не раз жаловались сторожу на подопечную. Тюлька получала нагоняй, но «охота» повторялась с завидным постоянством.

Спустя немало лет (время было нищее: ни денег, ни стройматериалов) завод помог ящиками от станков и оборудования, и Михалыч построил сторожку.

Через дорогу, напротив от него, жила большая семья Сашиного друга Валерки.

Валерка — младший из трех братьев — художник от Бога, был редкостным лентяем. Для достижения весомого результата к таланту принято прикладывать упорство, волю и труд, но их-то мальчику как раз не хватало, поэтому заложенное в него богатство он использовал лишь в армии, для выпуска красочных стенных газет и боевых листков, чем радовал военное начальство, дававшее ему кое-какие поблажки по сравнению с другими солдатами. Способности не были востребованы, а время бездарно потрачено на рыбалку, гулянье, шалости неуемной молодости, игру в карты.

Кстати, о картах. Теплым летним днем Леша, Миха и Валерка расчистили на столе пятачок в бардачном доме «художника» (порядок и дом Валеры — понятия взаимно исключающие).

— Вылил бы, или доел супешник-то. Я его третий день лицезрею. Коркой покрылся, мухи на коньках катаются, — сказал Лешка флегматичному Валерке.— Убери приборы, противно браться, все сальные,— добавил он.

— А куда торопиться? Успеется,— ответил тот.

— Что, не докис? — съязвил Миха.

— Не твоего ума дело, мелкий,— беззлобно ответил Валера. Миха был младше приятелей.

— Мужики, у меня дома есть старая простокваша. Бабка доньжит: «Допей, да допей!». А я — бычок,— простодушно заявил Миша,— с детства только молоко уважаю. Давайте «приговорим» ее. Кто проиграет, тому и пить,— сказал тот.

— Пойдет,— авторитетно заявил вечно голодный Валерка. Его «дубовый» желудок спокойно справлялся с подобными «инсинуациями». Однажды бедолаге в травмопункте пришлось вправлять челюсть вследствие чрезмерно открытого рта, обрадовавшегося огромному бутерброду, навороченному с голодухи.

Родители мальчика воспитывали отпрыска своеобразно. Они не оставляли ему ни денег, ни еды, с тем расчетом, чтобы голодное чадо не находилось на даче в столь нежном возрасте одно, но Валерка был упрям и ходил с домочадцами в противофазах: они — на дачу, он — с дачи. Перебиваясь случайной едой, рыбой из пруда и грибами из леса, он упорно продолжал существовать отдельно от своей шумной семьи бастионом самостоятельности.

— Тащи,— одобрил Саша, полагая, что избежит кисломолочной экзекуции, поскольку будучи старше своих приятелей, играл внимательно и умел считать карты.

Миха принес трехлитровую банку еще не горькой, но уже «дрыгнувшей ножкой», «отрыгнувшейся» сывороткой, простокваши. Валера деловито помусолил боевую колоду и сказал: «За дело, господа, за карты!»

Из-под высоко занесенной руки для хода Леша увидел в открытое окно крысу. Жирная тварь препротивной наружности, темно-серой масти, с длинным носом и чуть ли не метровым хвостом, то ли отъевшаяся на ближней помойке, то ли ожидающая потомства, неспешно переходила дорогу. Она чинно вышагивала на водопой к единственному колодцу, где под решеткой часто стояла вода.

Лешка, известный на все сады горячностью, возмутившись подобной наглостью, схватил первое, что попалось под руку, а это был, случайно завалявшийся на обеденном столе, молоток и метнул его в крысу.

Упражнение по метанию было отработано «на отлично». Гордая представительница фауны упала, чуть дрыгнув ножками, выполнив последнее па прижизненного танца.

Тут же «нарисовалась» Тюлька и впилась зубами в шею «добыче». С трудом волоча трофей, собачонка мелкими шажками посеменила к сторожу, желая продемонстрировать хозяину, что вовсе не даром ест хлеб. Крыса и псинка явно были в разных весовых категориях, но Михалыч, увидев Тюльку, не обратил на это никакого внимания и долго с гордостью рассказывал всем и каждому о своей необычайно смелой и сильной собаке. Рассказы его с каждым разом приукрашивались живописными подробностями и стали походить на охотничьи, или на рассказы заядлого рыбака.

Повеселившись вдоволь, ребята не стали разубеждать Михалыча в феноменальных способностях его собачки...

Уж полвека минуло, сменилось поколение владельцев. Дети стали дедами и бабушками, но помнят Григория Михайловича. После него никто так не вел хозяйство, все больше пили...

ЛЕСТНИЦА

В августе, когда отец взял на работе отпуск и решил строить погреб, пришел Кузьмич. Внешне Кузьмич — уменьшенная карикатурная копия Бывалого из «Самогонщиков».

Они выбрали место для строительства погреба, учитывая, что потом над ним будет возвышаться сарай.

Любознательный Санька донимал отца вопросами. Как и чем будем заливать пол? Из чего будет потолок? Как сделать, чтобы не стояла вода? Что нужно, чтобы избежать нашествия мышей? Как проветривать помещение?

Приехал Санькин дядюшка из Башкирии — Степан — крепкий молодой парень, и полетела земля в разные стороны. Как всегда «в большом строительстве километр — не ошибка». Отец, начиная копать, выкорчевал кусты сортовой крупноплодной смородины, те, что мать принесла из питомника. Годы совместного проживания с этим незлобивым человеком заставили ее постепенно привыкнуть к его копательскому весенне-осеннему ражу, при котором он забывал про цветы и посадки, сделанные ранее, а может, она сама забывала предупредить о них, а потом напрасно обвиняла мужа в невнимании.

«Штык» — Сашка — на площади три на два метра один и две десятых кубометра грунта — долой. «Штык» — Лешка — еще столько же долой из ямы. Два штыка — дядя Степан. Кузьмич вовремя остановил команду работяг, иначе вырыли бы колодец вместо погреба.

Отцу было не до Саньки и не до готовки. Что накухарил, то и ели. Раза четыре в неделю приходила Лешкина бабушка, еле-еле передвигая больные ноги, звала внука обедать, но он либо уже поел, либо она его не заставала на месте. Если Сашке что-то разрешалось, то младшему — Лешке — это разрешалось по определению, и его «деды» даже не вникали, чем занят парень. Ребята гуляли везде, упиваясь относительной свободой. Помогая отцу по строительству, они успевали и купаться, и гулять до ночи, и сидеть у костра, травя анекдоты.

Когда погреб был готов, а выше уровня земли на полметра торчало бетонное изголовье, его загудронили и по бокам засыпали грунтом. В грунт посеяли газонную траву. Место находилось с южной стороны под наклоном, сухое, хорошо проветриваемое и прогреваемое, поэтому его облюбовали осы.

Погреб строили из подручного материала энтузиасты, а не специалисты. Тогда, в шестидесятые, стройматериалы достать было трудно, даже на свои кровные деньги. Но погреб служит верой и правдой и поныне. Сколько яблок сохранил!

С годами он стал протекать, в июле приходилось выкачивать воду электронасосом. Стены, пол и потолок его покрасили, однако он все равно «слезился», и краска благополучно утекала вместе с водой. Надежда на соседский колодец, вырытый поблизости, не оправдалась, воды в погребе не убавилось, а наоборот.

Опыт строительства погреба вдохновил хозяев на решение иных проблем: обшивка оргалитом второго этажа, продление террасы и строительство лестницы.

При вскрытии пола и потолка (необходимо было удлинить террасу, чтобы поместить лестницу) обнаружились пикантные подробности давнего строительства в виде заботливо выточенных и подложенных клиньев. Для нормальной стыковки балок углам полагалось быть прямыми, а не наклонными.

Одному из соседей привезли бревна, балки от разобранного после пожара дома. Отец договорился с хозяином материала, что придет взять обгоревшую балку. В куче лежали и нетронутые огнем экземпляры. Сашин приятель, Миха, пришел помогать носить тяжелое. «Саш, зачем тебе на новое строительство дерьмовый материал, когда есть хороший? Вот эта балка, к примеру»,— резонно заметил практичный мальчик.

Балка, на которую положил глаз приятель, действительно была то, что надо: длиной шесть метров, сечением 250×250, совсем не горелая. Ребята водрузили ее себе на плечи. Отец попытался возражать, да понял, бесполезно. Лучше заплатить.

Потом он захотел подставить, как Ленин на субботнике, свое крепкое плечо, но недостаточный рост не позволил ему сделать это. Ребята «скроили лица тяпками» и в молчании прошествовали мимо хозяина материала.

Балка для второго этажа была толста и тяжела. Ребром встал вопрос, как почти без инструментов расколоть ее вдоль. Отцу дали дрель с цельнометаллическим корпусом, правда она слегка «била» током. Тогда отечественная промышленность других не выпускала, а импорта в магазинах не было. Отец наметил через каждые три-четыре сантиметра точки сверления с двух противоположных плоскостей балки и просверлил дырки. Потом двумя топорами завершил работу по делению целого на две части. Половина балки была положена на асбоцементный столб, подпиравший второй этаж, и на террасу, а вторая благополучно сгнила с южной стороны дома, дожидаясь своего часа.

Мать сказала Саньке, что на втором этаже он жить не будет, если она не сможет контролировать, чем он там занимается. Поэтому понадобилась лестница. Обстоятельный отец, со своей крестьянской сметкой, подбирал каждую доску, чтобы найти подходящую по размерам и не пилить, посему строительство лестницы продвигалось медленно, и ему удалось закончить ее только глубокой осенью.

Сломав старый дом, когда это «стало выгоднее, чем латать дыры», Санька аккуратно перенес лестницу — в новый и установил ее между вторым этажом и чердаком. Пусть труд отца послужит детям, внукам, а, может, и правнукам.

ДЕКА ВАНЯ

В школе у Саши был друг — Андрей Шалашов (Шала), парень неплохой, только скрытный. Сашиной матери он не нравился, чувствовала она какую-то неискренность в нем: не смотрел парень в глаза, когда говорил с ней.

Внезапно Андрей проболтался, что собирается поступать в математическую школу. Шала целый год ходил туда заниматься. Одному ему проходить собеседование, тянуть билет, сдавать экзамен было боязно. Поэтому Андрей предложил Сашке пойти с ним за кампанию, для испытания судьбы.

Саша сдал экзамен, и его приняли в школу, а Андрея — нет. Позже он пересдал экзамен, и тоже поступил, но ребята оказались в разных классах.

Весной математическая школа устраивала для своих учеников путешествие на теплоходе по каналу имени Москвы. Говорили, было интересно и много математических конкурсов. За победу в каждом из них давали специальную валюту — «тугрики», на них школьники могли купить разные книги по математике, «прошедшие» в магазинах. Самой дорогой для Саши стала книга «Математические беседы» Е.Б. Дынкина, которую он так и не сумел приобрести, о чем часто жалел.

«Деды» на теплоход парня не пустили, кроме того, для поездки Саньке требовалось отпроситься в той школе, где он учился.

Известно, что за апрелем следует май. А в мае канцелярия школы, куда поступил Санька, запросила документы учеников. И тут случилось невообразимое. Подросток впервые столкнулся с административно-хозяйственным аппаратом и командной системой. Директор сказал, что не даст документы Петрову Александру для перевода его в другую школу, так как тот *«не является ни дебилом, ни малолетним преступником»*.

Санька понуро поплелся домой и все рассказал деду — Ивану Сергеевичу.

«Вань, ты бы похлопотал!» — сказала бабушка.

Дед нахмурил густые седые брови, ничего не ответил, надел рубашку, галстук и костюм, на котором красовались, блестя на солнце, три ряда орденских планок. Бабушка спросила: «Ой, Вань, чегой-то ты?» — Он сурово ответил: «Скоро буду». И вышел. Дед иногда так делал, когда надо было решать серьезные вопросы. Санька спокойно сел обедать.

Но тут прибежал Андрей, он надеялся урегулировать конфликт тихо и мирно, с помощью тетушки из РОНО.

«Слушай, Саш, там твой дед в школу идет. Как бы чего не случилось? Может, нам сбегать, помочь чем?»— обеспокоено спросил Шала. — «Иди, Саша, Деке-то помоги! А вдруг чего-нибудь?» — сказала бабушка. Она, зная деда, не могла не понимать, что никаких «чего-нибудь» быть не должно, но тревожное «а вдруг» не давало ей покоя. Кроме того, Шала топтался в сенях, точно конь в стойле, не зная, что делать.

Санька и Андрей пошли в школу.

Первый человек, кто встретился им в вестибюле — вездесущая Екатерина Ивановна — нянечка, уборщица и вахтер — в одном лице. Напуганная, она лишь тихо спросила Саньку: «Это кто? Твой отец?» — «Нет, дед».

Иван Сергеевич вышел из кабинета директора спокойный и невозмутимый, как всегда, и на ходу бросил: «Сегодня у них канцелярия закрыта, завтра они вам все дадут».

Позже Санька узнал, что дед задал директору простой вопрос. «Ты, за или против Советской власти?»

Тот опешил от неожиданности, втянул голову в плечи и сказал, что не понимает о чем, собственно, речь.

Тогда Иван Сергеевич пояснил: «В твоей школе оказались талантливые ребята, которые проявили незаурядные способности в области математики, поэтому их приняли после вступительного экзамена в специальную математическую школу. А ты препятствуешь развитию их способностей. Не хочу обобщать, но у меня возникают вопросы: Кому это выгодно? А на кого ты работаешь? А ты уверен, что занимаемое тобой место — твое? Я сформулирую эти вопросы и обязательно задам их на ближайшем бюро райкома партии».

Сашин дедушка, родом из деревни. Он работал там кузнецом, имея четырехклассное образование церковно-приходской школы, пел в Тропаревской церкви Архистратига Михаила Архангела, служил в царской армии в Первую мировую войну, а в 1917 брал Зимний. Он, персональный пенсионер союзного значения, употреблял другую лексику. О чем можно было судить по оторопелому пунцовому лицу Екатерины Ивановны...

Санька окончил физико-математическую школу без троек, институт и вечернее отделение МГУ им. Ломоносова с отличием, чем заслуженно гордится. У него есть звания, степени и дипломы. За все это он, в первую очередь, благодарен своему деду, который научил его реальной жизни.

ВАРЕНЬЕ

Только благодаря тому, что Сашиного отца послали работать на строительство станкоинструментального завода в Египет, семья смогла скопить деньги на кооперативную квартиру. По тогдашним куцым нормам на человека имевшихся метров у них было достаточно, поэтому на государство никто не рассчитывал. Четырехкомнатная квартира в 1969 году стоила 9000 рублей, столько же, сколько автомобиль «Волга», покупка которого для многих, при зарплате 200 рублей, была не реальна.

Поблизости от деревни Тропарево в чистом поле и выстроили 9-ти этажный

блочный дом с двумя арками в изгибах. В том доме и купили квартиру Петровы. Сначала рядом с домом можно было увидеть лосей. А еще недалеко стояла пятиэтажка. И все, больше вокруг никакого жилья. Но в десяти минутах ходьбы уже существовала станция метро Юго-Западная — конечная остановка на Сокольнической линии. Теперь она выходит на проспект Вернадского, а тогда...

Доехав однажды до конечной станции и выйдя на сторону строившегося дома, Саша поднял глаза и увидел черно-белую корову. Та, деловито жуя травку, неодобрительно промычала в ответ на его неожиданное вторжение в ее мир. У метро не существовало ни единой тропинки да и людей нигде не было видно. Санька решил, что он — Пятница в этом неосвоенном солнечно-зеленом рае, и Господь послал ему корову.

Санька Петров понимал, строительство метро было продиктовано соображениями мирового значения. Здесь на Юго-Западе столицы тогдашний глава государства — Хрущев хотел поставить павильоны международной выставки ЭКСПО. Точно так же, как он в пику ООН, построил Калининский проспект, здание СЭВ, где сейчас располагается мэрия. Обычно люди дожидались годами новых станций метро, а тут ее выстроили за четыре года до начала возведения жилого квартала. «Вообще-то, так и должно быть, когда наверху думают о людях!» — подумал Санька.

По Ленинскому проспекту с интервалами в движении полчаса или час ходил троллейбус № 62. В конце проспекта, а конец его тогда находился примерно на уровне будущей улицы Миклухо-Маклая, завершался этот маршрут.

Документы на квартиру оформили. Вступительный взнос заплатили. Потом предстояло еще 25 лет выплачивать стоимость квартиры. Деду, как персональному пенсионеру, полагалась дополнительная площадь, а так бы нипочем не дали. Удивительно! За свои деньги.

Москва расширялась, прирастая новыми микрорайонами, один из них — Тропарево, а потом уже и Тропарево-Никулино.

Дед был родом из деревни с одноименным названием, пел в церковном хоре. На территории церкви Архистратига Михаила Архангела похоронен его отец. На мосту через овраг сходились драться на кулачках «ихние и наши». Деревня славилась черной крупной вишней Владимиркой и сладкой великаншей-морковью.

После заселения в новый дом Сашины родители ходили в родную деревню, когда ее сносили. Они хотели выкопать пару молодых вишневых деревьев — в память и, чтоб не пропали, перенести их в сад. Дед сказал: «Им там накундачут!» У него были интересные выражения — фигуры речи. Домой родители вернулись расстроенные: старые деревья и молодняк были варварски поломаны... «до основанья, а затем...».

После работы, вечерами родители Саши ездили убирать новое жилище: оттирали ластиком паркетную щепу, ибо паркетом это не называется. Хлипкие деревянные полосочки длинной 12 см, шириной 3 см, а толщиной 3 мм. Убирали следы пребывания рабочих, похоже, что там даже кто-то из них жил.

Вероятно, в одну из квартир строящегося дома должен был заселиться корреспондент из «Московской правды». Он часто выезжал на место, брал интервью у бригадира, помещал фотографии, добросовестно освещал в газете ход строительства в позитивном плане, так что уровень информационной поддержки был высок. Строителям недвусмысленно намекнули, от них ожидается только отличное качество, иначе пресса отразит оценку работы как есть.

Однажды Дека решил съездить на новую квартиру проведать Санькиных родителей и посмотреть новое жилье. Бабушка, практичная женщина, всучила ему тяжелую трехлитровую банку варенья. В доме никто, включая хозяек, не помнил, когда оно было сварено. Дед, бывший военный, много поездивший на своем веку, умел отлично паковать разные вещи. Банка была укутана газетами и поставлена в авоську.

Авоська — характерная примета шестидесятых — хозяйственная сумка, сплетенная из нитей с ячейками чуть меньше, чем на рыболовных сетях.

Дед поехал на троллейбусе.

У Саньки к тому времени еще не кончились занятия. Он жил тогда с «дедами», поскольку ходить в школу от них ближе и удобнее, чем от родителей. Да и кто будет там, когда родители на работе, кормить мальчика обедом, следить за ним, чтоб не «шалберничал», а делал уроки. Мать с отцом жили на Профсоюзной в неспокойном районе.

Каждый день Дед ходил в магазин за продуктами, а бабушка готовила. Раз он зашел в «кулинарию» за мясом. Одна из покупательниц, хорошо знавшая Ивана Сергеевича, посоветовала взять ему свежие потроха и кости, на что тот отозвался: «Что я, собака что ли?»

Вечером приезжали родители с инспекторской проверкой и спрашивали, как идет учеба.

Санька пришел после школы и, не видя деда, поинтересовался, где он. Баба Дуся, а была она женщиной очень мнительной, стала уже не на шутку волноваться, поскольку дедушка отсутствовал пять часов. Сотовых телефонов в ту пору не было.

— Ми-и-и-лая моя, Деки-то как долго нет! Саш, ты бы поехал, посмотрел, не случилось ли чего.

Уроки Саша сделал еще вчера. Прождав троллейбус около часа, внук отправился на выручку. Выйдя из него, парень встал, как вкопанный. На снегу возле дедовых следов, больше никаких следов не было, дорожка темных кровяных капель. «Может, дед упал и ушибся?» Санька нагнулся и попробовал кровь на вкус, та оказалась сладкой. «Варенье»,— догадался мальчик. По дороге к дому капли становились больше. Сладкая дорожка довела Саньку до квартиры, но родители, закончив работу, уже ушли, и ему никто не открыл. Чертыхаясь, он вернулся домой.

— И чего поехал, кто тебе велел? — встретил его дед.

— Бабушка волновалась: тебя долго нет.

— Ну, ты ее слушай больше, не знаешь, что она паникерша известная. Лену накручивала, такого нагораживала, когда я из командировки чуть задерживался, девка бояться начинала.

— Дек, признайся, банку-то с вареньем стукнул?

Дед никогда ни в чем не признавался.

— Цч-цч-цч,— он отвернулся от бабушки и приставил палец к губам. Партизан!

Оказывается, он действительно «легонько приложил» банку с вареньем о поручень троллейбуса, и родители убрали ее подальше с уговором, что потом отец сделает вино, чтобы продукт не пропал и бабушка не «гундела». Теперь Санька узнал, из чего делают портвейн. Вино получилось не самое плохое.

СТРИЖКА

Всем Учителям посвящается

В конце 60-х годов многие молодые люди бредили «Битлами» и фильмом «Пепел и алмаз» А. Вайды. Для них, 14-ти — 15-тилетних отчетливо вырисовывался современный герой. Интеллигент с удлиненной прической, но без хвостиков, патл и милитаристского бобрика. Чистые аккуратно уложенные волосы должны были закрывать уши и шею, а челка — доходить до бровей.

Герой носил очки непременно прямоугольной формы с дымчатыми стеклами в черной оправе, которую невозможно было купить, нет достать. Пожалуй, этот термин больше подходит к тому времени.

Внешний облик героя — вызов, протест всему навязываемому, противному сво-

бодной человеческой личности. В те застойные времена власть в СССР активно боролась с подобными проявлениями, полагая, что в прямоугольных очках и прическе под «Битлов» таилась скрытая угроза существующему строю. Так некогда преследовали «стиляг», а «бдительные» граждане принимали людей, носящих усы, за иностранных шпионов, по принципу: «Сегодня парень в бороде, а завтра где? В Эн-Ка-Вэ-Де!»

Что и говорить, сложное положение было у преподавателей физико-математической школы, обязанных не только адекватно оценивать происходящее вокруг, но и воспитывать детей должным образом. А учились в той школе умницы и умники. Некоторые средненькие преподаватели не выдерживали общения с языкастыми учениками и уходили в обычную школу.

Задачей школьного коллектива преподавателей-единомышленников во главе с директором Владимиром Федоровичем Овчинниковым было: «формирование демократического мировоззрения, свободолюбивых людей с чувством собственного достоинства, интеллигентных и образованных...».

Всеволод Лапин носил именно такую прическу и такие очки. Он учился в параллельном классе с Сашей.

Ребята встретились в буфете на короткой перемене. Проглотив традиционный винегрет за четыре копейки и, выпив чаю с жареным пирожком с повидлом, приятели обменялись мнением о темах сочинений. Школа заставляла их думать не только на профилирующих предметах — физике и математике, но и на литературе. Скажем, чего стоит такая тема сочинения: «Почему в философский центр романа «Преступление и наказание» поставлена Катерина?» Или еще, по роману Даниила Гранина «Иду на грозу» — «Гражданское мужество. Что стоит за этими словами?» И никаких «гуляний по образам».

Проверенные работы выдавались школьникам с оценками по русскому и литературе. Кроме того, после оценок следовала небольшая рецензия учителя — известного литературоведа, критика, сотрудничавшего в «Новом мире», Виктора Исааковича Камянова, основные принципы преподавания которого «заключались в правде освещения материала, искренности общения и уважении личности ученика».

Увидев Лапина на длинной перемене, Санька обомлел от удивления: Севкину голову украшала стрижка. Она была хороша, но непривычно коротка. Да и когда он успел? Он никогда бы не позволил сделать это с собой добровольно, поскольку гордился своей прической, для нее он не один месяц отращивал волосы. Иногда одноклассницам приходилось закалывать длинные шелковистые пряди, чтобы не вызвать гнев у особо нетерпимых преподавателей.

Сева поведал Саньке грустную историю.

Выкурив сигарету, парень направлялся на урок и тут увидел директора. Школьники, за глаза, нарекли его Шефом. Отучившись три курса в Институте стали и сплавов, Шеф окончил истфак пединститута, стал мастером спорта по альпинизму, лыжам и баскетболу.

«Всеволод, пойдем со мной»,— сказал Шеф. Сева, теряясь в догадках, по какому поводу, пошел.

В директорском кабинете стоял незнакомый юноша. Не успев понять, в чем дело, ученик услышал звук запираемой двери. Оказалось, молодой человек — не ученик, а парикмахер по вызову. Такая услуга для обычных людей в то время была недоступна. Обнаружив марсианина в кабинете Шефа, Севка удивился бы гораздо меньше.

— Постригите его,— сказал директор.

— Пожалуйста, садитесь,— предложил парикмахер, у которого все уже было готово. Он обращался с Севкой корректно, и предстоящая экзекуция никак не вязалась с этим обращением.

— Я вынужден подчиниться. Но это насилие над личностью и попирание прав человека! Сообщаю, что платить за данное мероприятие я не намерен, поскольку не располагаю ни деньгами, ни желанием! — возмущенно заявил Севка.

— Сева, располагайтесь поудобнее,— сказал радушно директор. И добавил миролюбиво.— Не огорчайтесь. Школа заплатит из средств, сданных родителями в классный фонд.

— А вы уверены, что они одобрят ваши действия? — спросил уныло Севка, потеряв всякую надежду отвертеться. Он миллион раз говорил «предкам», что нечего тратить время и ходить на родительские собрания, а тем более платить деньги.

— Одобрят, одобрят. Уже одобрили, если угодно знать. На собрании все родители мальчиков выразили неудовольствие по поводу длины волос своих дражайших отпрысков.

Сева Лапин учился вовсе не в тоталитарной школе. Каждое время воспитывает своих лидеров. «Во времена глухих и согласных» человек, открыто объявивший о своем расхождении с общепринятой точкой зрения по какому-либо вопросу, по определению, считался либо диссидентом, либо сумасшедшим. Тем не менее, именно тогда Шеф восседал в президиуме отчетно-перевыборного комсомольского собрания школы, где каждый второй, критикуя школу и директора, говорил такие вещи, которые за стенами данного учебного заведения рассматривались как сущая крамола. А Владимир Федорович, понимая юношеский максимализм и неуемное желание «математиков-аналитиков» во всем разобраться досконально, только улыбался, за что его горячо любили ученики.

Школьник, допустивший оплошность, за которую его могли бы немедленно исключить из школы, оставался в ней под письменное поручительство класса. А чего стоили персональные заявления учащихся: *«Обязуюсь не курить на территории школы в неотведенных для этого местах...»*

Для курения был отведен мужской туалет на втором этаже. Вот где была демократия: курили школьники и педагоги. Там, в неформальной обстановке ученики узнавали многое о жизни, о том, как оно было на фронте, и чего она, действительно, стоила наша Победа, из уст непосредственных участников тех событий...

Спустя десятилетия, пережив райкомовские гонения, Виктор Федорович Овчинников и сейчас преподает в школе.

Дай Бог ему долгих лет жизни, душевных сил на этом благородном поприще! Да пребудет с ним любовь его учеников бывших, настоящих и будущих!